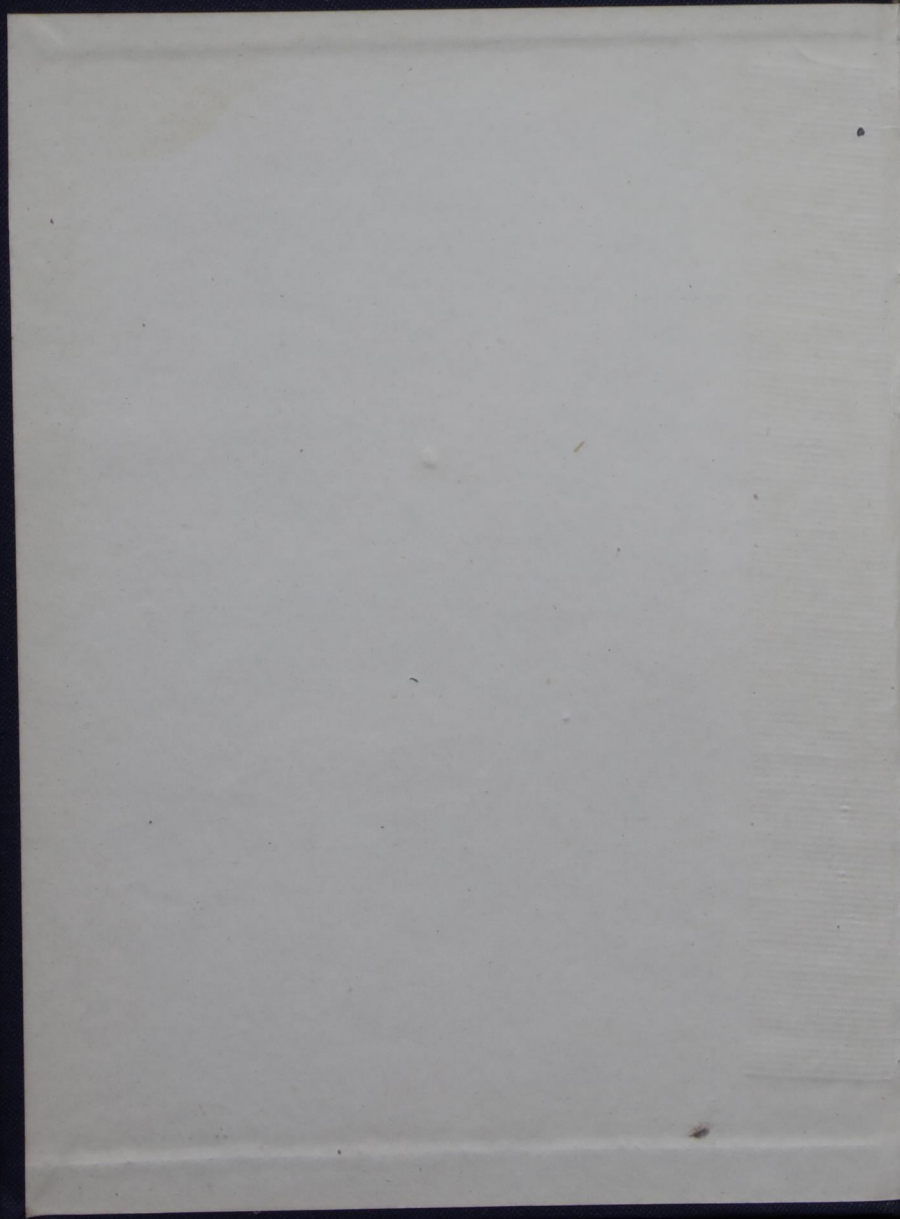
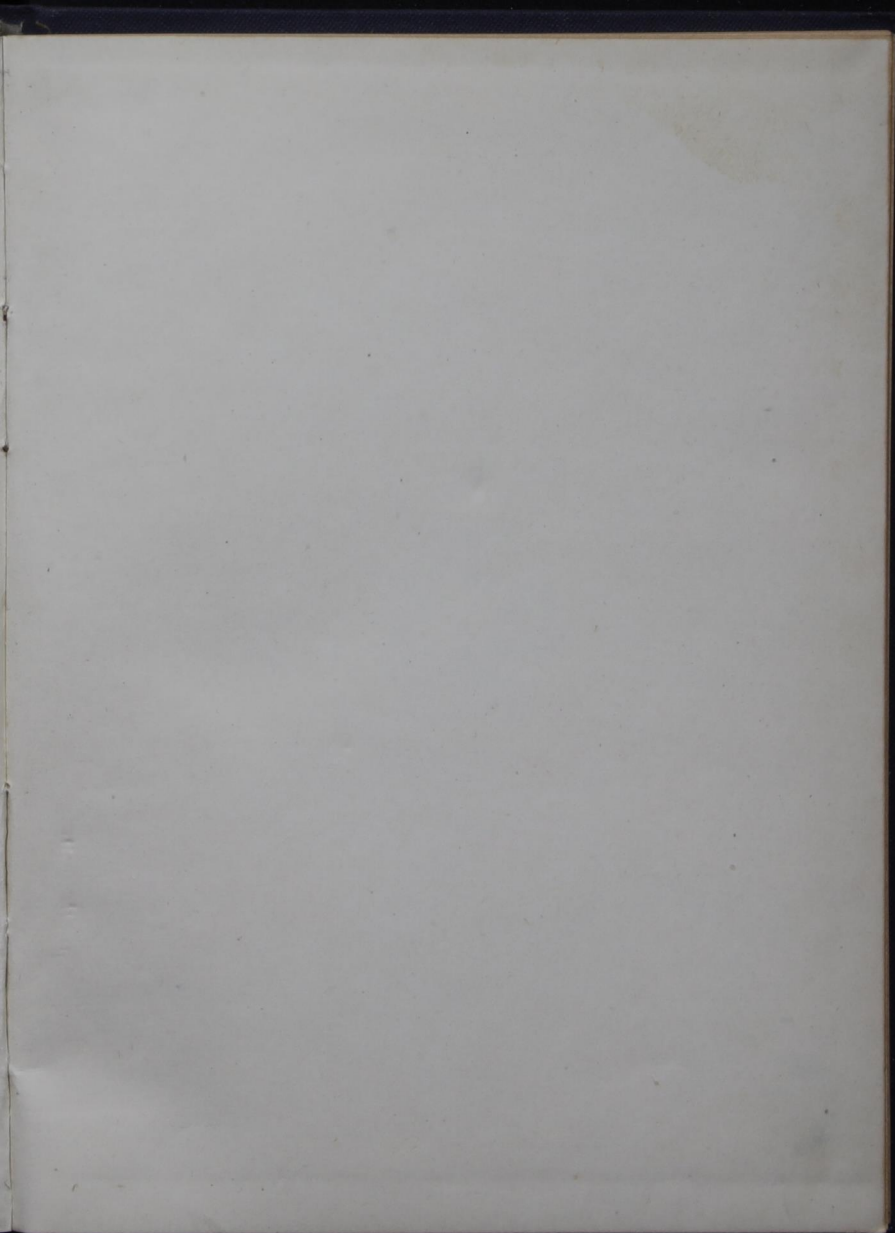
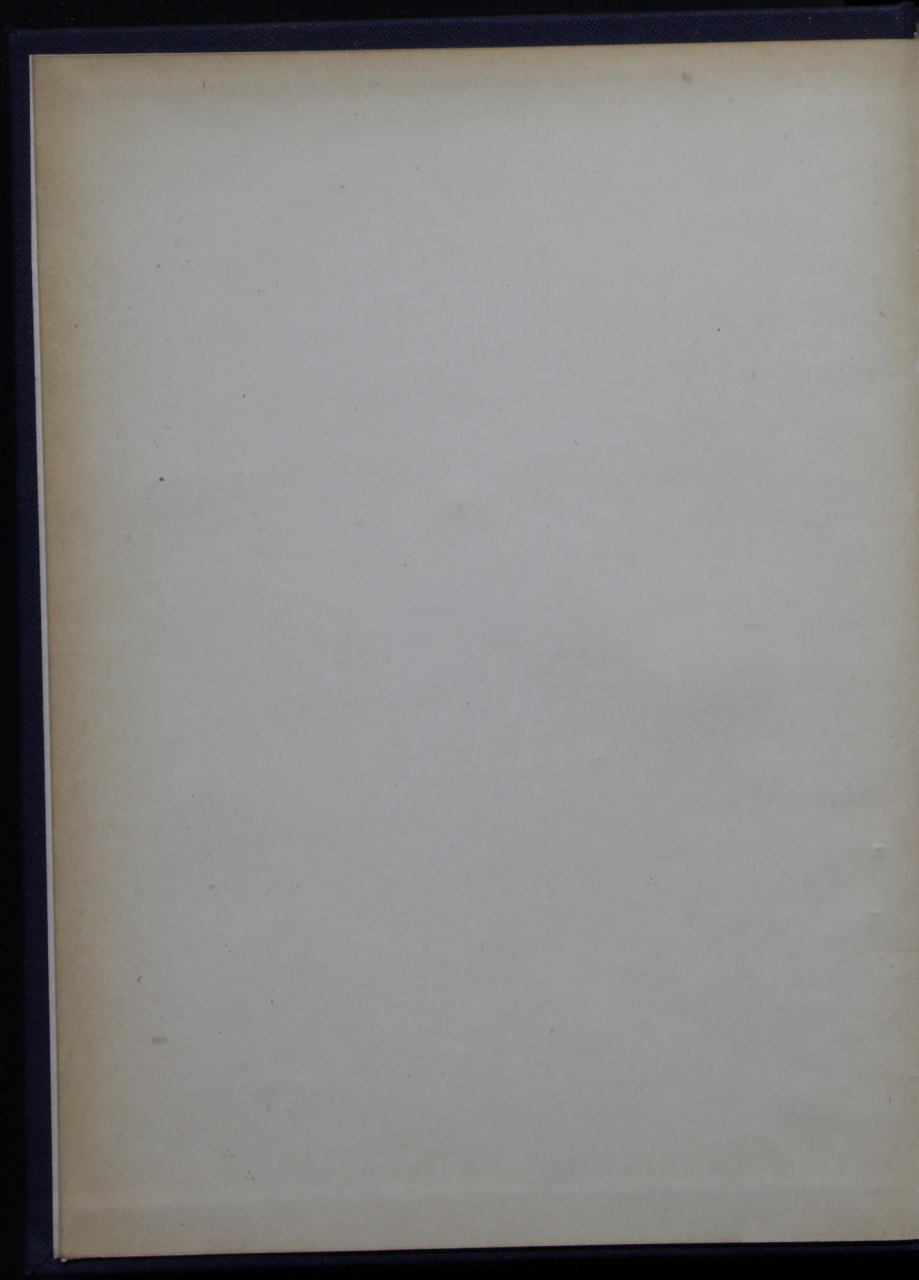












ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГАБРИЭЛЕ Д'АННУНЦИО

GABRIELE D'ANNUNZIO

НОКТЮРН

ПЕРЕВОД С. В. ГЕРЬЕ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. А. СМЕРНОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МСМХХІІІ—МОСКВА

124, -13

Отпечатано 5.250 экз.
в Тип. Коминтерна
Глв. 3.16 Главлит. 837
П-тербург

Н О К Т Ю Р Н
NOTTURNO

1921

THE NEW YORK

LIBRARY

1870

I.

Aegri somnia

Мои глаза завязаны.

Я лежу в кровати, на спине, с неподвижным туловищем, с головой, закинутой назад, немного ниже уровня ног.

Слегка приподнимаю колени, чтобы дать наклон дощечке, лежащей на них.

Пишу на узкой полоске бумаги, в одну строчку.

Между пальцами скользит карандаш. Большой и средний пальцы правой руки, упираясь в края полосы, продвигают ее после каждого написанного слова.

Правым мизинцем касаюсь нижнего края бумажной полосы и пользуюсь им, чтобы сохранить направление и писать прямо.

Локти крепко прижаты к бокам. Стараюсь придать движению рук величайшую легкость, чтобы игра их не переходила выше кисти руки, чтобы ни малейшее сотрясение не передавалось забинтованной голове.

Во всем своем положении ощущаю неподвижность египетского писца, изваянного из базальта.

В комнате нет ни малейшего света. Пишу в темноте. Вывожу свои знаки в ночи, которая плотно прилегает к моему телу, как доска, прикрепленная гвоздями.

Изучаю новое искусство.

Когда суровый приговор врача поверг меня во мрак и определил мне в этой темноте то узкое пространство, которое тело мое будет занимать в могиле, когда вихрь действия остыл вокруг чела, когда призраки сражения сразу исчезли по ту сторону темного порога, когда сделалась тишина во мне и вокруг меня, когда я покинул свою плоть и обрел свой дух из первой же смутной тревоги, родилась потребность выразить, обозначить... И почти немедленно я стал обдумывать искусный способ обойти суровость режима, не нарушая предписаний врача.

Мне была запрещена речь и, в особенности, всякое начертание речи; и в то же время я никак не мог преодолеть своего давнего отвращения к диктованию и тайную стыдливость художника, который не терпит посредника или свидетеля между материалом и тем, кто его обрабатывает. Опыт убеждал не приступать к письму с закрытыми глазами. Трудность заключается не в первой строчке, а во второй и в следующих.

Тогда пришел мне на память тот способ, которым Сивиллы писали свои краткие изречения на листах, рассеянных ветром судьбы.

И я улыбнулся улыбкой, которую никто не видел во мраке, когда я услышал, как Сиренетта ¹⁾ нарезает для меня бумагу лентами, лежа на ковре в соседней комнате, при свете низкой лампы.

Ее подбородок, наверное, освещен так же, как, бывало, отблеском горячего песка, когда мы лежали рядом, на пизанском побережьи, в счастливые дни.

¹⁾ Рената, дочь поэта.

Бумага ритмично шелестит, и в моем воображении воскресает шум прибоя, ударяющего о подножие тамарисков и можжевельника, иссушенных либеччо. ¹⁾

Под повязкой, в глубине моего раненого глаза загорается пламя, подобное летнему полудню в Бокки д'Арно.

Вижу песок, на который ложатся складки от ветра и рябь от волн.

Могу сосчитать его зерна, запустить в него руку, наполнить им ладони, пропускать его сквозь пальцы.

Пламя растет, зной распалается. Песок блестит перед моими глазами, как слюда и кварц. Он ослепляет меня; меня охватывает головокружение и ужас, как в Ливийской пустыне в то утро, когда я ехал один верхом, к могилам Сахары. Веки не защищают меня, ни в чем нет мне защиты. Страшное пылание внутри головы, от него нет спасения. Желтое превращается в красное, равнина заколыхалась, поверхность ее становится шероховатой, острой.

Как творческая рука лепит фигуры из мягкой глины, так таинственное дуновение поднимает из слепящей равнины контуры человеческих и звериных форм.

Вот, пламя затвердело и высекается резцом, как камень.

Предо мной твердая стена из раскаленных скал, покрытых изваяниями людей и чудовищ. От времени до времени она колыхнется, как огромный парус, и призраки шевелятся. Затем все исчезает, увлекаемое красным вихрем, как ворох палаток в пустыне.

Край оторванной сетчатки пылает, сворачиваясь, как Дантовский папирус, и чёрный пепел уничтожает по-немногу начертанные на нем слова.

Читаю: „Почему ты дважды обманул меня?“

¹⁾ Юго-западный жаркий ветер. *Прим. пер.*

Соленый пот проникает мне в рот, смешанный со слезами из-под зажатых век.

Я чувствую жажду. Прошу глотка воды.

Сиделка отказывает: мне запрещено пить.

„Ты будешь утешать жажду потом твоим и твоими слезами.“

Простыня облегает мое тело, как сочащееся солью тело утопленника, которого вытащили на берег и положили на песке, пока не придет кто-нибудь, кто опознает его, закроет ему мутные глаза и поднимет плач над его молчанием.

Когда Сиренетта своей осторожной походкой подходит к моему изголовью и несет мне первую пачку одинаковых полосок, я тихонько поднимаю свои руки, которые все время покоились вдоль моих бедер. Замечаю в них новую чувствительность, что-то необъятное приливает к кончикам пальцев, похожее на потоки света.

Кругом полный мрак. Я на дне подземелья.

Лежу в своем деревянном раскрашенном ящике, узком и облегающим мое тело, как футляр.

Остальным мертвецам родные принесли плоды и лепешки. Мне, писцу, милосердая приносит орудие моего ремесла.

Если бы я приподнялся, не ударила ли бы моя голова, о крышку, на которой снаружи нарисован мой белый образ с большими и ясными глазами, обращенными ко всей красоте и всему ужасу жизни?

Моя голова остается неподвижной, стесненная повязками. Начиная от бедер и до затылка, какая-то наклонность к лени делает меня столь же неподвижным, как будто действительно надо мной уже совершена операция бальзамирования.

Тотчас же руки мои находят нужные жесты, с тем безошибочным инстинктом, какой скрыт в крыльях летучих мышей, когда они касаются шероховатых поверхностей темных пещер.

Беру полоску, ощупываю ее, измеряю. Узнаю качество бумаги по легкому звуку ее.

Это не та обычная бумага, которую изготовляли для меня ручной работой, лист за листом, мастера Фабриана, метя ее водяным знаком моей печати, которая теперь мне кажется страшной, как вечные муки. Она гладкая, немного жесткая и режет на краях и на углах. Она похожа на несвернутый свиток, подобный тем священным свиткам, которые художники помещали на своих картинах. В моих руках словно религиозный предмет. Испытываю мистическое чувство в прикосновении к нему моих рук. Какое-то девственное чувство воскрешает во мне тайну письма, тайну начертанного знака. Слышу, как между моими дрожащими пальцами шелестит свиток. Кажется, будто моя тревога раздувает горящий уголь в глубине моего глаза. Пламя и искры уносятся в вихре моей души.

Чувствую на своих коленях руку милосердой. Слегка приподнимаюсь, чтобы принять дощечку. Для меня, в моем мраке—это дощечка священных обетов. Бумага лежит на ней. Зажимаю карандаш между большим, вторым и третьим пальцем. На третьем пальце еще сохранились складки от утреннего труда. *Nulla dies sine linea*. И я дрожу перед этой первой строчкой, которую должен провести в темноте.

О искусство, искусство, какие страстные искания посвятил я тебе, с какой напряженностью ловил твои веления!

О, ненасытная любовь к слову, начертанному для веков!

Мистическое опьянение, из самой моей плоти и самой моей крови создававшее слово!

Огонь вдохновения, неожиданно сливавший древнее и новое в единый неведомый сплав.

Рука взвешивала материю. Материя получала цвет, форму, тембр.

Перо было что кисть, что резец, что смычок музыканта. Уже владеть им было великой радостью.

Гордый и смиренный дух трепетал при виде плотной пачки чистой бумаги, которая должна быть превращена в живую книгу.

Качество масла для светильника выбиралось как для жертвоприношения суровому богу.

И в часы счастливого творчества жесткий стул превращался в подножие для моления, скрипевшее под напором согбенного туловища.

А ныне тело мое лежит в ящике, распростертое и стесненное.

Вчера мой дух бился как огромный, попавший в западню орел. Сегодня он собран, внимателен и мудр. Но сердце бьется без меры. Ощупываю бумагу. Рука судорожно сжимает карандаш, почти до боли.

Внезапно в огненном поле глаза встает предомной фигура Винченцо Джемито, каким я видел его в первые дни его безумия, поднявшись в его темницу по каменистому и ослепительному склону, по которому стада демонических коз щипали выгоревшую траву.

Вижу, как он в комнате тесной, подобной келье, мечется от двери к окну безостановочным движением дикого зверя в клетке. Огромная волосатая и бородастая голова обезумевшего пророка под ветром пустыни, еле поддерживаемая хрупким и согбенным туловищем, на двух разбитых усталостью ногах, держащихся лишь непобедимой стойкостью, подобной той, какая должна была быть у Микель Анджело на подмостках Сикстинской капеллы.

Правая его рука в кармане, между тем как левой он жестикулирует, никогда не вынимая первой, как будто что-то ее держит.

Меня терзают еще теперь та же жалость и та же тоска, что охватили меня тогда, когда я узнал, что уже целые годы, с самого начала своего безумия, он держит зажатым в руке кусочек красного воска для лепки и непрерывно повторяет пальцем движение, которым ваятель мнет и утончает глину.

Пораженный в голову, лишенный способности творить, он сохранил лишь этот инстинктивный жест, это пластическое движение руки, эту техническую привычку челядинского мастерства, — отливки из красного воска.

Ныне он здесь, среди ада моего завязанного глаза, живет своей страшной жизнью.

Он смотрит на меня из глубины своего бездонного отчаяния.

Он состарился. Волосы на голове и борода стали белыми, запущенными, они всклокочены бурей и судьбой, как у царственного отца Корделии.

Его рука уже не спрятана; он держит кусочек красного воска между большим и указательным пальцами. Его рука, высохшая, вся — одни нервы и кости, подобно иссохшему корню души, повторяет одно и то же движение без конца.

Вот исчезает его голова, исчезает все тело, пожираемое огнем, горящим под нашими веками, как под крышкой плавильного тигеля.

Остается рука, одна лишь рука, как от утопающего в море огня. А воск не тает; он тут, цвета сгустка крови, между пальцами, которые ни на минуту не прекращают движения. Видение приобретает такую жестокую остроту, что я делаю усилие, чтобы не кричать от ужаса и боли.

Молнии безумия пронизывают мозг.
Мне хочется вырвать глаз, чтобы больше не видеть.

Я в ночи, во мраке, но моя ночь—огненная.
Милосердая удалилась; слышу из соседней комнаты легкий скрип бумаги, которую она нарезает.

Подавляя дрожь, кладу кончик карандаша на край полоски.

На мгновение является смутное ощущение, что в руках у меня не карандаш, а красный теплый кусочек воска. Это—мгновение невыразимого ужаса.

Наконец я пишу на невидимой бумаге.

Пишу слова:

„О сестра, зачем дважды ты меня обманула?“

В трепе зову ту, что бдит надо мной.

Говорю ей:—Возьми, посмотри, можешь ли прочесть, что я написал?

Она уносит полоску, которая шелестит, как лист пальмы. Молчание.

Мгновения мне кажутся вечностью; их выстукивает мое смятенное сердце. Прислушиваюсь.

Из соседней комнаты мелодичный голос без запинки читает слова, которые кажутся, верно, загадочными:

„О сестра, зачем дважды ты меня обманула?“

В первый раз она на краткий миг опередила славу, убив моего товарища, который вместе со мной жертвенно посвятил себя пути без возврата.

Во второй раз, роковой игрой обстоятельств, она подарила другому ту прекрасную участь, которую он сам предназначал мне, считая меня достойным ее, по божественному праву.

Ангел или демон ночи раздувает пожар в моем погибшем глазу.

Бесчисленные искры рассыпаются по ветру.

Моя голова запрокинута, отброшена, подвешена в пустоте.

Не чувствую больше подушки, не чувствую постели

Слышу смутный гул, слышу шум полетов, грохот сражения.

Жалостливая, твердая рука оттолкнула, отстранила меня; голова моя прободена, она висит над пустотой, с борта аэроплана, который весь дрожит.

Надо мной тень от правого крыла; меня осеняет воздушная звезда винта.

Уже не огонь пылает, а брызжет кровь. То не искры, а уже капли. Героический пилот возвращает на родину принесенного в жертву поэта.

О слава безмерная!

Какая божественная или человеческая рука когда-либо бросала на борозды земли более величавые семена? Неистощенная кровь проливается в боевом вихре, как зерно развевается ветром.

Каждая капля разбивается на мириады, подобно пыли водопада, из которой образуется радуга, она не течет, но летит, не падает, но возносится.

С этим божественным кропилом может ли сравниться голова Орфея, плывущего с лирой по волнам?

Новый миф более прекрасен.

Вижу свой лик, преображенный в грядущих великих веках.

Душа не отлетает еще, она прильнет к ране, как пламя к факелу, когда оно отрывается в бурю и снова сливается, гаснет и вспыхивает, соединенное с ним лишь невидимой связью, которая своей жаждой пламени побеждает бурю.

Долгое страдание, превратившееся внезапно в ликование, долгая немощь, претворенная в достижение высшей чистоты,—душа созерпает этот чудесный лик, который есть подлинное ее отражение, лик, который она так пламенно желала обрести и не могла.

Она давно знала, что смерть есть победа, но не видала, что эта победа столь велика.

Бессмертная, она ныне сияет в смерти, и ветер последнего полета ее не сокрушит.

Плоть отягощала, ныне восхищает ее.

Буйная кровь была источником смятения, а стала орудием чуда.

Жизнь была ей пределом, и стала ей свободой.

Душа несомна телом, как порывом к творческой красоте.

Никогда чело святого или мученика на плахе не было столь прекрасно, как эта голова на хрупком крае утренней бездны.

Никогда раненый орел так гордо не обаграл кровью воздуха ударами своих крыльев.

Эта кровь будет сиять в вечности, как божественный млечный путь вечно белеет в ночи.

Но вот земля—вот цель.

Последняя капля источилась среди гула полета.

На невредимых крыльях герой-пилот возвращает на родину бескровное тело принесенного в жертву поэта.

Весть поражает, как молния, и кажется далекой, как воспоминание о древнем подвиге.

Все берега Италии трепещут, как и ее знамена.

Слава преклоняет колени и целует прах.

Кто изображал слепых, как провидцев. обращенных к грядущему, как прорицателей будущего?

Подобно Тирегию, который свои пророческие уста смачивал черной кровью закланного барана, так и я уж много ночей пью от принесенной мною жертвы, но ни будущего не созерцаю, ни в настоящем не живу.

Существует только прошедшее. Только оно реально, как перевязка, которая лежит на мне, только оно осязаемо, как мое распятое тело. Ощущаю дыхание и теплоту моих видений.

В моем раненом глазу переплавляется весь состав моей жизни, все итоги моего опыта.

В нем обитает огненная сила воспоминания в непрерывном брожении.

Что подходит к моей кровати, менее жив для меня, чем тот мертвец, что вперил в меня свои жгучие взоры, как восставший из раскаленной могилы ада.

Пишу не на песке, пишу на воде.

Каждое начертанное слово растворяется, как бы уносимое темным потоком.

Как будто кончиками пальцев я вижу формы слогов, которые я черчу.

Это миг, сопровождаемый как бы фосфорическим блеском.

Буквы гаснут, стираются, исчезают в бегущей ночи.

Мысль будто устремляется по мосту, который за ней обрушивается. Арка, опирающаяся о берег, уже разрушена; тотчас рушится и средняя арка. Тревожная мысль перебрасывается на противоположный берег с усилием отчаяния, в ту минуту, когда третья арка сдает и исчезает.

Пишу, как тот, кто с корабля бросает якорь; и канат скользит все быстрее и быстрее, а море кажется

бездонным, и якорь не может достать дна, а канат не может натянуться.

Как восторг от мелодии, внезапно долетающей от невидимого оркестра, как откровение стиха, будящего тайные струны души, как дуновение быстrokрылой бесконечности, духом безбрежным, телом бесплотным, с ликованием, похожим на ужас, я ощущаю духовность мира.

Мой товарищ на острове умерших, там, за каменной оградой, за мрачной завесой кипарисов, где хорнят моряков, в том свинцовом гробу, который запечатывали при мне со свистом пламени.

Он лежит под колонной истрийского камня, поставленной в головах могильной насыпи.

И его памятник подобен солнечным часам, где протянутая рука Икара, как бронзовая игла, показывает над высеченным именем один лишь час—час последнего дерзания.

Мой спутник умер, похоронен, истлел.

Я жив, но я лежу во мраке, так же, как и он. Дышу, но чувствую, что мое дыхание проходит между почерневшими губами, похожими на его губы в первые часы, проходит через рот, почти бесчувственный, пропитанный металлическим вкусом иода, который разливается по всему моему телу.

И моя рана похожа на его: я вижу снова слой ваты, наложенный на его правый висок, раздробленный падением.

Его смерть и моя жизнь—одно и то же.

Из его неподвижности там внизу ко мне поднимается все то, что я умел любить в нем; из моей

неподвижности здесь навстречу к нему течет то, что во мне было достойного его любви.

И хотя я страдаю, хотя он больше не страдает, но для нас обоих уже не существует плоти в великом единении духа.

Последнее его слово, услышанное мной на ускользавшем берегу, его рука, холодная и бледная, к которой я прикоснулся на мгновение перед тем, как крышка гроба скрыла ее от меня,—в эти мгновения, жил я или умираю я с ним?

Есть обитель души, где сливаются черный поток и поток светлый.

Это страна нашей бессмертной дружбы. Там образы наши, отраженные друг в друге, сливаются воедино.

Это уже не видение, это постоянное присутствие: оно отталкивает всякого, кто приближается ко мне.

Но первое появление призрака вспоминаю с ледяным ужасом.

Канун похорон.

Моя печаль не может оторваться от его разлагающейся плоти.

Канун дня св. Стефана. Его огонь зажжен. Сажу там, где он сидел обычно. Минутами он меня поглощает. Теряю себя в нём.

Не слышу того, что кругом меня говорят живые. Здесь Чинерина, со своим странным гениальным лицом, напоминающим мне Бетховена в юности, с расширенными глазами, со взглядом, в котором грусть и ирония сочетаются, как в таинственной целебной смеси. И Манфреди Гравина здесь же, чтоб утешить меня, чтобы убедить меня, что есть еще друзья, что есть еще соратники, обрекшие себя войне.

16 декабря 1915. Какова погода там, снаружи? Чинерина говорит, что в семь часов, когда она пришла, было ясное звездное небо. Манфреди говорит, что сейчас густой туман.

Уже десять; пора итти. Рената хочет спать. Накидываю свой большой серый плащ сверх толстой фуфайки авиатора. Все движения в передней повторяются, как тогда, когда он был с нами, но его короткий черный плащ не висит на золоченом крючке, и не слышится его голос, изяшный и иронический.

Выходим. Глотаем туман.

Город полон призраков.

Люди двигаются без шума, сдерживаемые темнотой.

От каналов поднимается пар.

На мостах виден только край белого камня на каждой ступеньке.

Пение каких-то пьяных, где-то громкие голоса, перебранка. Голубой свет фонарей во мгле.

Перекличка воздушных сторожевых постов, хрипло доносящаяся среди тумана.

Город сновидений, город нездешнего мира, город, омываемый водами Лета или Аверна.

Призраки проходящих мимо скользят, исчезают.

Рената идет впереди меня, как тогда, а Манфреди рядом с ней. Они разговаривают так, как разговаривали Рената и мой товарищ. От времени до времени туман проползает между мной и ими.

Проходим через мосты. Фонари мерцают, как блуждающие огоньки на кладбищах.

Пьяцца полна тумана, как бассейн, полный опаловой воды.

Здание старой Прокуратии почти невидимо.

Верхушка Кампанила уплывает в тумане.

Базилика стоит, как скала среди бурного моря.

Две колонны Пьяцетты похожи на два столба дыма, поднимающиеся из двух одинаковых кучек золы.

На Рива-дельи-Скьявони огоньки причаливших лодочек.

Легкая музыка в Восточном Кафэ за тяжелыми дверьми: плясовые мотивы.

Пение пьяных.

Бродячие призраки.

Сегодня ночью бродят мертвецы, как в ночь между днем Всех Святых и вторым ноября.

Расстаемся в вестибюле отеля Даньели.

Надеюсь, что Рената будет спать эту ночь.

Возвращаюсь в Каза Росса один.

Мой друг со мной, своим духом.

Глубокая печаль сочится из моего сердца. Смотрю на берег, куда причаливала его лодка, где каждый вечер мы жали друг другу руку и говорили: до свидания.

На Пьяцетте кто-то оборачивается на звук моих шагов.

Оборачивается еще раз, удаляется, превращается в дымную тень, исчезает.

Иду под зданием Прокуратуры, освещенным голубым светом. Изумляюсь, услышав, как многочисленная семья обсуждает обыденные житейские дела с тяжеловесной тупостью тех, кто возвращается с пирушки. Живые это люди или мертвые? Прохожу мимо. Огни превращаются в тени.

По ту сторону моста Сан-Мойзэ, в то время, как с ужасом я думаю, что должен пройти мимо проулка Кортэ Микьель, замечаю, что кто-то движется рядом со мной бесшумно, как будто босой.

У него рост моего товарища, его фигура, его походка.

Одежда его неопределенная, сероватого цвета, и шапочка тоже сероватая.

Он молчит странным молчанием, как будто в нем не обитает ни голос, ни дыхание.

Он шагает без каблуков, без обуви, без сандалий.

Мне вдруг становится жутко. Замедляю шаги. Вижу его перед собой.

У него походка моего друга. Через некоторое время он опять оказывается рядом со мной, как раз перед проходом, который ведет к КORTE Микель.

Улица пустынна.

Зажигаю лампочку на повороте и замедляю шаг. Мне удается установить между нами два или три метра расстояния. Он ни разу не оборачивается.

Его шаги так бесшумны и так странны, что немногие редкие прохожие останавливаются, чтобы взглянуть на него.

Подходим к Санта Мария дель Джильо. Туман проникает в рот, наполняет легкие. Около Каналаццо он колышится и сгущается.

Незнакомец становится более скорым, более прозрачным, обращается в тень.

Тогда я ускоряю шаги, чтобы не потерять его из виду.

Под одним домом, где по вечерам всегда слышна игра на фортепьяно, под домом, где живет антикварий, он внезапно исчезает.

Он не упал в канал, не перешел моста, не вошел в дверь. Двери домов и лавки закрыты. Осматриваю их при свете своей лампочки. Возвращаюсь назад, чтобы убедиться.

Потом бегу на мост и пробегаю по улице, чтобы убедиться, что я не ошибся и что он не впереди меня.

Улица пустынна. Пустынен и двор Сан Маурицио.

Может быть, я найду его в другом переулке, который ведет к Каза Росса?

Сердце мое трепещет. Туман касается крылом своим моей щеки. Толпа пьяных вопит там внизу, в глубине переулка.

Мои уста прикоснулись к полноте смерти.

Мое страдание насытилось могилой.

Долго не мог переносить другой пищи Переживаю те мрачные дни, час за часом, мгновение за мгновением. С завязанными глазами стараюсь видеть. С болящей головой стараюсь понять.

То, что произошло, мне кажется несправедным.

Самая суровая необходимость может казаться прекрасной. Но это неожиданное событие не имеет иной красоты, кроме той, которую придает ему моя страсть.

Мы понимали ту опасность, которой себя обрекли свободно и добровольно, признаваясь в этом разве друг другу мимолетной улыбкой. Мы знали, что наше предприятие безнадежно, и не искали спасения от прекрасной судьбы.

В последние дни образы нашего бытия обрисовывались преувеличенно на темном фоне морского горизонта. Мужественная печаль расставания усугубляла цену каждого пережитого часа.

Выдержка в живой деятельности, среди инертности, тонувшей в тумане Венеции, которую война, казалось, опустошила до последних жизненных остатков.

Двойное лезвие действия, оттачиваемое ежедневно и как будто прорезавшее густую и косную массу окружающей печали.

Мужественная чета, чета боевая, возрожденная в создании крылаемых людей, вожатый и метатель сна-

рядов, оружие воздушное, оружие небесное, водимое единой волей, как двуконечное копьё греческого юноши.

Товарищ *есть* товарищ.

Нет ныне на свете уз более благородных, чем то молчаливое соглашение, которое из двух волей и из двух крыльев создает единый порыв, единое дерзание, единую смерть.

Самый тайный трепет невысказанной любви ничтожен в сравнении с теми взглядами, которые, пробегая между обоими, запечатлевают верность идее, твердость намерения, молчаливую жертву завтрашнего дня.

Теперь смерть, которая должна была взять обоих, выхватила одного, вопреки соглашению, вопреки принесенной жертве, вопреки справедливости, вопреки славе.

На вершине славы, для крылатой четы совершается великое жертвоприношение: жертва всесожжения.

Судьба огня—подлинная их судьба. Шумящее крыло становится для них пылающим костром.

Как в восьмом круге Дантовского Ада, они двое „в одном огне“, но огонь не разделен. Они не обменивались словами в высоте; не нуждались в речах, слишком малых для остроты мгновения, и не будут говорить они, когда запылает огонь.

И как полет был лазурным молчанием в такт ритмической песни сгорания в машине, так теперь черным молчанием увенчается жертва всесожжения.

Героический рок крылатой четы, когда она побеждена, есть всесожжение.

Кто сдается в плен и отдает свои крылья, тот по истине совершает грех против родины, против духа и против неба. Несчастный или бесстыдный, он теряет всякое право на славу.

Влекомый огнем, воздушный воин несет с собой пожар и в жизни и смерти.

Блаженны те два соратника-героя, чьи кости смешаются на носилках, неузнаваемые, как горящие угли.

Вспоминаю дни тревоги, бессонные ночи.

Прошлое становится настоящим во всех своих формах, со всеми своими событиями.

Переживаю вновь свои страдания, плачу прежними слезами.

Мой друг восстает из могилы, и вновь я хороню его.

Жест, слово, запах, луч света, шум винта, сверкание штыка, складки знамени, нагар факела, возрастающая бледность руки вокруг побелевших ногтей, неясное пятно на полу, шипение пламени, запаивающего свинцовый гроб, гулкий удар первой горсти земли о гроб, отдавшийся эхом в вечности: весь зловещий ужас во всех его видах воскресает во мне с безжалостной ясностью.

Порою я вижу себя самого, как он мог бы видеть меня из своего гроба.

Порою я сам мертвец, и одновременно тот, кто его созерцает.

Потоки света следуют друг за другом с лихорадочной быстротой, как в ту августовскую ночь, когда мы вместе шли, подобно двум слепцам, прижимаясь друг к другу, по берегу, залитому проливным дождем, ослепляемые непрерывной молнией всякий раз, как поднимали веки.

Молю о передышке, чтобы запечатлеть перед собой его лицо таким, каким я видел его в последний раз. Хочу найти в себе ту сокровенную частицу души,

которая, быть может, знала, что это последний раз, между тем, как я этого не знал.

Как проснулся я в то утро? Какой сон сопровождал душу до порога сознания?

Подобно деревьям, освещенным косыми лучами солнца, и события имеют за собой длинные, никем неизмеренные тени.

Вот, я встал, оделся, со мной мой плащ, со мной мое мужество на каждый день. Ничто не связывает меня с домом. Этот дом меньше, чем временная палатка. Я свободен, я один с намеченной целью—и моя цель для меня все.

Жизнь имеет лишь цену копья, которое рука взвешивает прежде, чем метнуть его. Кажется, будто кости стали легче.

Во всем теле живо лишь сердце.

Выхожу. Железная дверь маленького дома захлопывается за мной одним ударом.

20 декабря. Дождь, вода в канале завывает.

Моторная лодка из Сант-Андреа пыхтит на берегу. Несу с собой чемодан и сумку с депешами. Лагуна волнуется.

Вода пенится.

Беседую с мотористом—сицилианцем.

Он рассказывает мне о своих крушениях в Тихом океане и у берега Триеста. Приезжаю в Сант-Андреа. Беттино меня ожидает. На нем новый костюм: синяя курточка с золотыми пуговицами, короткие штаны и гетры. Странное ощущение. Своими близорукими глазами я не сразу его узнаю.

Что-то неуловимое в эту минуту витает между ним и мной.

Вступаю на берег, переходя через баржи.

С ласковой почтительностью, которую он всегда

сохраняет, несмотря на нашу близость, он меня провожает вдоль вязкого берега, где еще сильнее дует северный ветер.

Входим в деревянный барак.

В коридоре страшно жарко.

Печь пылает, вся раскаленная.

Он ведет меня в свою рабочую комнатку, показывает веточку омелы, которую он получил и которую хочет взять с собою на счастье для полета. Отдает спрятать чемодан и сумку.

Время завтрака.

Три французских офицера подсаживаются к нашему столику.

Цветы, изысканные блюда и сервировка, все в честь меня!

Сажу рядом со своим товарищем.

Общий разговор.

Говорим о мире таинственного, оккультного, затем—о судьбе, о талисманах, фетишах, о колдовстве.

Беспечно слушает, от времени до времени вставляет свое слово, всегда свежее, оригинальное, глубокое.

Встаем, идем пить кофе. Он мне показывает несколько веселых картинок, которые должны украсить коридор аэроплана. Говорим о книгах, которые должны быть поставлены в „квадратный“ шкаф; говорим о Сант-Андрэа, о новых постройках, о будущей весне...

С нами Манфреди Гравина, Джиджи Брешиани, Альберто Бланк.

Говорим о машине, изобретенной Джиджи Брешиани.

„Полезный“ на случай аварии.

Интересен тип этого юноши из Вероны: белокурый, тщедушный, бледный, с усиками, с тонкой линией рта, вид маленького английского офицера времен Горация Нельсона.

Беттино забавляется тем, что дразнит Альберто Бланка, который изготавливает зажигательные бомбы и измерители расстояний.

Кто-то описывает негодование Миральи, когда ему было доложено о японской комиссии. Идет разговор о „психике“ японцев, о „психике“ китайцев. Манфреди рассказывает с юмором о китайских вельможах, о невозможности войти с ними в близкое общение, о их непроницаемой вежливости.

Два часа. Пора отправляться. Моторная лодка готова.

Черная кошка прячется под диван. Во время завтрака она ела с блюдечка с таким удовольствием, что хвост ее двигался, как во время любовной встречи.

Стол стоит между окном и печкой.

Окно немного приоткрыто, потому что слишком жарко.

Оно открывается от каждого порыва ветра.

Падает холодный серый свет на стол, на цветы.

Северный ветер так силен, что матрос с моторной лодки предсказывает, что он продлится по крайней мере неделю!

Этот матрос—из Сиракуз. Мы говорили с ним о солнце, о жаре, об апельсинах, о цветущих миндальных деревьях, о Таормине. Передо мной вставали Латомий, развалины греческого театра, Венера...

Встаем, чтобы уходить. Беттино провожает меня. Вечером он дежурный. Говорим об одиночестве, о том отдыхе, который дает одиночество.

Скоро он ляжет спать, выпится. Также и мы, Рената и я, будем одни,—мы отклоняем приглашение Альберто пойти в ресторан, так как друг наш не может быть с нами.

Сопровождаемые им, мы перебираемся через баржи и садимся в моторную лодку с Манфреди, с Альберто, с Джиджи Брешиани, который как будто задумчив. Беттино радуется, что завтра он у меня обедает, последний раз перед полетом, из которого нет возврата...

„Будем пировать и пить, приятель: завтра мы станем пищей рыб“...

Его глаза смеются детским весельем.

Прощаемся. Он стоит на борту баржи и смотрит на меня.

Оборачиваюсь два или три раза, чтобы приветствовать его рукой. Он исчезает.

Холодно, моросит дождь, будет ветер. Закутываюсь в свой большой серый плащ.

На Лагуне желтоватые волны. Проплывает черная баржа с красноватым парусом.

Я молчу, а друзья разговаривают. Говорят о нем. Манфреди предлагает шутку: предлагает во время карнавала нарядить несколько моряков сербскими офицерами, оборванными, грязными, растрепанными и под видом „сербской миссии“ послать в Сант-Андрэа, чтобы полюбоваться яростью коменданта.

Взрыв веселья, полного какой-то нежности: так любим мы его, так ценим его оригинальную прелесть. Пронизывающая сырость гасит смех и шутки.

Высокие стены. Огромные сооружения.

Входим в Арсенал. Луиджи Брешиано идет работать над своим боевым аэропланом. Манфреди Гравина возвращается в Адмиралтейство. Напряжение еще чувствуется сквозь печаль исчезнувших мгновений.

Расставаясь с Альберто, который настаивает на приглашении, я говорю, чтобы он пришел ко мне к семи часам, и тогда, смотря по настроению, я решу, выйду ли, или останусь дома.

Тупая тоска. Жизнь внезапно обрывается, как слишком натянутая веревка. Трудно ее связать вновь.

И Рената также грустна. Решаю идти обедать с Альберто, чтобы развлечь ее. И она грустит об отсутствии нашего друга. Кажется, будто для нас нет больше радости без него.

Пишу Чинерине, прошу ее приехать.

Рената уходит, чтобы переодеться.

Выходим около восьми, в темноте держась за руки.

Перед стеклянной дверью ресторана, где люди едят и курят, останавливаемся со страхом и отвращением. Хочется вернуться домой. Кто-то меня уговаривает, идет мне навстречу, ведет меня в другую залу, более тихую, где меня ожидают Альберто и Манфреди.

Ужасный обед, разговор не клеится.

Рената грустна. Альберто в мрачном настроении говорит мало. Делает усилие над собой, но нет у него бодрости, он чувствует себя стариком. Он уезжает в отпуск завтра утром или вечером.

Приносят скучные фрукты. Жизнь внезапно теряет всякую прелесть. Эта комната холодна и бела, как больничная палата. Какой-то иностранец сидит за соседним столом: он смотрит и слушает, с выражением глупого любопытства.

Отказываемся от кофе и идем пить его к Бареттери. Тоскливо плетемся в темноте.

Манфреди рассказывает, что всякий раз, когда Муралья выходит из ресторана на бастион, он тыкается носом об стену.

Через несколько мгновений, начинаем различать лунный свет. Из-под портика выходим на Пьяццу, вступаем в зачарованный мир.

Почти полнолуние. Воздух холодный. Мерчериа, узкая и застроенная, расплывается во мраке. Прежде

чем дойти до моста Бареттери, мы уже ощущаем жгучий запах кофе, как вблизи маленьких арабских кофейных. Поднимаемся по лестнице, входим. Рыжая служанка ищет глазами Беттино, обычного спутника, которого сегодня нет.

Пьем кофе стоя. Альберто пьет лимонную водку, которая как будто поднимает его настроение.

При выходе, Манфреди и Рената идут впереди. По отдельным долетающим до меня словам, слышу, что он рассказывает ей о годах, проведенных вместе с нашим другом в Академии в Ливорно.

Когда мы проходим через Понто-делла-Паллья, Рената объявляет, что не хочет так рано возвращаться домой.

Рива-дельи Скьявони залита белым светом луны. Из восточного кафе, сквозь закрытые двери доносятся звуки струнных инструментов. Провожаем Манфреди Гравину до Арсенала. Идем смотреть львов, присланных в дар родине Франческо Морозини, завоевателем Морей. Останавливаемся, рассматриваем их, решаем, который из них самый красивый.

Расстаемся. Вторично переходим через мост. Я провожаю Ренату в отель. Мы печальны, как после потерянного вечера. (Накануне вечером мы проводили Беттино до берега, где его ожидала лодка, но он захотел вернуться и проводить Ренату до дверей).

Возвращаюсь домой один.

Останавливаюсь, как всегда, перед Санта-Мариа-дель-Джилло и провожу рукой по барельефу из Зары.

Думаю о друге, который там один, в Сант-Андрэа, на сторожевом посту.

21 декабря. Тревожная ночь. Проснувшись в три часа, не мог уже заснуть. Читал до пяти. Потом заснул, но не крепко.

Открыв окна, вижу солнце, лучи его падают на мою подушку.

Ясный, тихий день без ветра, чудесный день для большого полета. Смутная тоска давит мне сердце. Меня гложет мысль, что приходится терять этот неожиданно благоприятный день. Моя мысль постоянно возвращается в Сант-Андреа. Хочется поехать туда завтракать, чтобы расспросить своего товарища, но Манфреди сказал мне вчера, что вероятно он остался в городе.

Начинаю писать письмо и прошу его телефонировать в Сант-Андреа. Прерываю его. Входит Рената.

Я так мрачен и молчалив, что она спрашивает, что со мною. Не знаю, что отвечать.

Без нескольких минут двенадцать. Небо голубое. Смотрю на растения в саду: ветер совсем слабый. Слышу шум аэроплана, который пролетает над Каналампо.

Почему такая тень ложится на сердце? Не болен ли я?

Спускаемся к завтраку. Я не разговариваю. Мысль сосредоточена на одном. Ем машинально.

Рената расставила цветы в вазах: красные розы, нарциссы, фиалки, гвоздику. Сегодня Беттино придет к обеду, как обещал. Она улыбается. Мы будем вдвоем, что уже стало для нас милой привычкой. Мне очень не хочется идти позировать для своего портрета в студию Делле Дзаттере; но Чинерина ждет меня. Может быть, это последний портрет. Рената хочет проводить меня. Мы выходим.

Весеннее тепло на светлом берегу.

Серые миноноски на якорях.

Три номера написаны мелом на красной двери дома, где помещается студия: 41, 5, 9.

Рената оставляет меня и возвращается обратно. Поднимаюсь.

Не могу скрыть своего мрачного настроения. Чинерина тут, в белом полотняном фартуке, со своими строгими кистями в руках. Это уже не женщина, а один порыв к творчеству.

Как во сне, принимаю нужную позу. Не слушаю ее болтовни. Проходит неопределенное время, может быть, короткое. Мы слышим, как кто-то поднимается по деревянной лестнице и стучит в дверь, вызывая меня.

Это голос Ренаты. Открываю дверь.

Рената бледна и вне себя.

— Иди, случилось несчастье.

— Какое несчастье? Что-нибудь с Миральей?

Сразу подумал о нем.

— Сойди вниз, Дженуа тут, он тебе скажет.

Спускаюсь, сердце бьется. На пороге встречаю Меммо Дженуа в волнении. Он рассказывает, что узнал по телефону со сторожевых башен, что аппарат, на котором летел Миралья, упал в море и что пилот в опасном положении.

Механик Джорджо Фракассини, наш Фракассини, исчез! Может быть, он утонул.

Стремительно поднимаюсь наверх, прощаюсь с Чинериной, которая волнуется. Опять схожу вниз.

Я, Дженуа и Рената бежим по набережной, в поисках гондолы или какой-нибудь лодки.

Миралью отвезли в морской госпиталь. Не перестаю расспрашивать Дженуа, чтобы узнать всю правду.

Дрожат колени. Язык изменяет мне. Оставляю Ренату в Кампо-Сан-Маурицио. Иду дальше по улице

22-го Марта. Прохожу перед домом Беттино, при входе в Корте Микель. Публика смотрит на меня. Не могу совладать со своей ужасной тревогой.

Встречаем матроса, который куда-то спешит. Дженуа останавливает его. Не слышу, что он ему говорит. Подхожу ближе. Матрос шел ко мне в дом. Понимаю, что тело перенесено в госпиталь Святой Анны.

Тело! Значит, он умер!

Дженуа поддерживает меня.

Бросаюсь бежать, ища способа достичь цели и избежать любопытства прохожих. Матрос догнал нас и предлагает моторную лодку, которая стоит у Санта-Мариа-дель-Джилльо. Едем туда.

Бассейн Сан-Марко, голубой.

Со всех сторон небо. Неподвижная завеса слез... Оцепенение, ужас... Молчание... Шум мотора... Поворачиваем в канал.. Вот Джардини:

Справа берег с голыми деревьями.

Что-то мрачное и чужое.

Перед нами, на низком небе, вблизи своего гаража тупая и пошлая форма серебристого цвета баллона на привязи. Сейчас около трех часов пополудни.

Под'езжаем. Я выскакиваю на пристань. Вхожу.

Спрашиваю о Джузеппе Миралье у дежурного офицера. Мне указывают дверь,—вхожу.

На кровати с колесиками лежит труп.

Голова забинтована.

Рот сжат.

Правый глаз поврежден, посинел.

Правая челюсть раздроблена. Начинает пухнуть.

Цвет лица зеленоватый: выражение—необыкновенной ясности.

Верхняя губа немного выступает, слегка опухла.

Тампоны из ваты в ноздрах.

Он похож на индусского принца в белом тюрбане. Руки, сложенные на груди, приняли желтоватый оттенок.

Ноги связаны белой марлей.

Сломана правая ступня. Сломан большой палец руки. Сломана одна нога. Сломано несколько ребер.

На нем голубая куртка с золотыми пуговицами, — та же, что вчера.

Хотят меня удалить. Отказываюсь. Опускаюсь на колени. Прошу оставить меня одного.

Оставшись с ним наедине, наклоняюсь над покойником, зову его несколько раз. Слезы каплют на его лицо. Не отвечает, не движется.

Опять опускаюсь на колени.

Вокруг дневной шум.

Биение пульса моторных лодок в канале.

Звук шагов на тротуаре.

Входит матрос с пачкой свечей; ставит четыре свечи в углах кровати.

Входит Луиджи Болонья; входит Карло делла Рокка. Не могу двинуться, не могу встать.

Кто-то к ногам покойника кладет букет цветов. Как будто узнаю Сильвио Монтанареллу, самого младшего из авиаторов.

Входят двое матросов, со штыками на ружьях, и становятся у изголовья кровати, стоят неподвижно.

Другой матрос прикрепляет к задней стене, против окна, большой флаг военного судна.

Над изголовьем тоже протянут флаг.

Спустя сколько времени, не знаю, входит еще один матрос с пачкой свечей и отворяет дверь в стене против меня.

Дверь была заперта.

Слышу шум шагов. Два матроса несут на носилках тело Джорджо Фракассини, найденное два часа спустя, среди разорванных полотен и перепутанных проволок, при перенесении в Сант-Андрэа обломков аппарата.

Переступают через порог, кладут его в другую комнату.

Встаю, иду посмотреть на него. Склоняюсь над ним.

Вспоминаю полет над Триестом, его предостережение насчет насоса для бензина, его хитрости, чтобы спрятать двадцать первый трехцветный мешочек...

Он будто спит. Выражение сдержанное, суровое.

Одет в свою темную кожаную куртку.

Он похож на монаха, блаженно перешедшего в другой мир. Его мужественное лицо, почти всегда влажное и блестящее от пота, с ясными и смелыми глазами, с открытым лбом и кривым носом, успокоено и облагорожено.

Он поистине отдыхает.

Возвращаюсь в соседнюю комнату, там тело моего товарища уже покрыто черным покрывалом с золотым крестом.

Его лицо также покрыто марлей.

Один из матросов хочет заменить флаг в изголовьи другим флагом — Красного Креста. Я не позволяю этого. Он хотел взять его, чтобы натянуть на стены соседней комнаты.

Справа и слева по черному покрывалу располагаю зеленые и красные складки.

Магическая сила трех морских боевых цветов.

Белый лоскут, бант.

Идут за другим флагом для Джорджо.

Входит Умберто Каньи в сопровождении других офицеров. Смутно вижу его воспаленными глазами. Подходит, открывает лицо покойного, шепчет какие-то слова.

Идет также взглянуть на механика. Потом подходит ко мне; я стою, прислонившись к стене, и стараюсь овладеть собой. Берет меня за руку, жмет ее, говорит грубым, солдатским голосом, почти суровым: „Добрый день“. Уходит.

Потрескивания мотора. Лодка удаляется.

Вот Манфреди Гравина, вот Альберто Бланк. Стою недвижимо. Один из моряков кладет мне под колени черную подушку, подушку для коленопреклонения в церкви.

Настала ночь. Слышу первый крик со сторожевых вышек: „В воздухе добрая стража!“ Вспоминаю о Ренате, о тех цветах, которые она расставила в наши вазы для него.

Встаю. Выхожу на мостик.

Золотая луна сияет в небе, низко, прямо против меня.

Сажусь в лодку, еду обратно каналом.

Стены Джардини, берег с оголенными деревьями, черный гараж баллона.

Дженуа провожает меня, он возьмет пакеты, приготовленные для передачи Альберту Бланку, который должен отвезти их в Рим.

Смерть сопутствует мне, запах смерти. Рената ждет меня: она уже знает все. Обнимаем друг друга, в слезах. Она хочет увидеть его.

Вхожу в столовую, чтобы взять цветы. На столе три прибора! Я убираю все цветы из всех ваз. Уношу их с собой в одном пучке.

Вхожу вновь в покойницкую.

Свечи зажжены. Пламя колыхается, отражаясь на лезвиях штыков. Два матроса стоят на часах неподвижно.

Раскладываю цветы около трупа: чувствую изгибы его боков, его ног.

Кладу белые нарциссы на красную и зеленую полосы флага.

Открываю бедное лицо его. Правая щека пухнет и чернеет.

Рот как будто зажат. Чувство действительности постепенно покидает меня. Я задумываюсь. Закрываю глаза. Представляю его себе живым, каким он был вчера, потом смотрю на него и вижу его неподвижным, обескровленным. Правда ли это?

Начинается бдение.

Против меня дверь в ту комнату, где лежит другой покойник—Джорджо Фракассини; она освещена, по ней пробегают дрожащие тени.

Два неподвижных матроса, суровый блеск голых штыков.

Плеск воды в канале над окном.

Переключка на сторожевых вышках.

Странная атмосфера вокруг покойника, как бы непроницаемый кристалл.

Около десяти появляется главнокомандующий. Входит решительной походкой. Овладевает своим волнением. Становится на колени. Молится. Встает. Входит в комнату, где лежит Джорджо Фракассини. Молча жмет мне руку, уходит.

Слышно биение пульса мотора в лодке. Затем все снова погружается в тишину.

Около полуночи приезжает комендант Джулио Валли. Садится около меня. Говорит со мной о покойном.

Печаль, сердечное сокрушение. Создается, что от Джузеппе Миральи требовали все, что могли дать его силы, и больше того.

В первые дни войны, один, с негодным аппаратом, со старым маузеровским револьвером, он летал против врага, защищал Венецию, обследовал Полу!

Говорит о том доверии, которое авиатор питал ко мне, и о том, которое он сам внушал мне к себе. Джузеппе Миралья за два дня перед тем сказал ему:

— Если бы я предложил Габриэлю д'Аннунцио полететь на Вену, он бы просто ответил: „Хорошо“, сел бы на аэроплан и не оглянулся назад.

Комендант выражает свое прискорбие о том, что разрушена эта чета, которая имела такие великие мечты и была способна осуществить их. Потом он говорит о доброте этого человека.

Мое горе вбирает, схватывает и увлекает как водоворот его размеренные слова.

У Джулио Валли ум тонкий, философский, с ироническим оттенком, терпимый, сильный и гибкий, способный понять и оценить такую натуру, какая была у Джузеппе Миралья.

Около двух часов ночи он уходит. Отсылаю Луиджи Болонью и Карло делла Рокка отдохнуть. Сильвио Монтанарелла должен прийти в четыре.

Новое ощущение времени. Борьба между живым образом, непрерывно творимым воспоминанием, и недвижимым телом.

Когда тоска становится невыносимой и черной, покров мне вдруг кажется пустым, и моя любовь начинает верить, что мой товарищ спокойно спит в своей кровати в Сант-Андреа, я встаю и приподнимаю белую марлю. Показывается опухшее лицо. Рот зажимается все крепче, все крепче. Цвет становится все темнее.

Изнемогаю. Карло спускается вниз в своем черном халате и просит меня пойти немного отдохнуть. Я отвергаю.

Караул из матросов снимается каждые два часа. Почти все они красивые, большого роста, суровые, с благородным выражением печали на лице. На

каждом—кожаный пояс с патронташем. Одежда темно-синяя, голубой воротник, суконная шапочка.

Бьет пять часов. На ближайшей сторожевой вышке раздается крик, дальние посты отвечают.

Плеск воды продолжается.

Ноги мои застыли на голом полу. Я продрог до мозга костей.

Встаю, иду и бросаюсь на кровать в одной из комнат первого этажа.

Один из матросов провожает меня по темным коридорам. Перед дверью в комнату спит рулевой, сидя, облокотившись рукой о стенку стула, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

Вхожу. Комната белая, кровать тоже белая. Электрическая лампа горит над кроватью. Не решаюсь погасить ее, хотя она ослепляет меня. Закутываюсь в серый плащ, как в одеяло. Покрываю голову, чтоб не видеть света. Умираю от усталости, но заснуть не могу.

Как только закрываю глаза и дремота охватывает меня, вижу своего друга живым, идущим мне навстречу. Вздрагиваю.

Вижу во сне, что он входит в Казу Россу и что я говорю ему: „Это ты? Вернулся?“

Черный плащ раскрывается: это не он, это маска, одна из тех белых масок, намазанных мелом, которые венецианцы носили под черным капюшоном.

Проходит время, сколько—не знаю.

Слышу шаги в коридоре. Слышу звук утренних трубных сигналов в ближних казармах.

Болит голова. В затылке мучительно подергивает.

Слышу шаги матросов, убирающих коридоры госпиталя.

Уже день? Вновь действительность ускользает от меня. Неужели правда? Вскрываю с кровати, вытираю

глаза платком, смоченным в воде из кувшина. Спускаюсь вниз.

Теряюсь в коридорах и лестницах. Нахожу наконец покойницкую. Вхожу.

Духота от свечей и цветов.

Черный покров, как был. Форма мертвого тела, как была.

Два матроса на часах.

Снаружи дневной шум. Звуки военных труб. Колокольный звон, пробуждение города, неотвратимое начало нового дня.

Тут добрый Сильвио с покрасневшими глазами.

Моя головная боль становится так жестока, что я не могу больше выдержать. Заказываю лодку. Выхожу на пристань.

Утро холодное и серое.

Возвращаюсь домой, в изнеможении. Раздеваюсь. Мне кажется, что к мундиру пристал запах смерти. Тот же запах и на белье. Снимаю с себя все. Сажусь в горячую ванну. Ко мне пристало что-то от трупа. Думаю о том, омыли ли тело погибшего, прежде чем одели его.

В доме ощущение пустоты, разорения.

Воспоминания о милой легкой жизни.

Его нежная радость перед моим маленьким Ватто, его улыбка мандарина, когда я пересказывал ему сжатые образы восточных поэтов.

Приходит Рената. Она бледна. Не спала. Расспрашивает меня. Я рассказываю.

Я должен вернуться в Сант-Анну к полудню.

Заказываю венок, несколько букетов роз.

Рената хочет ехать со мной.

Почти не притрагиваемся к пище.

Лодка у берега. Едем.

Венеция посыпана пеплом. Смерть повсюду.
Стаи чаек на воде. Их тихий смех над мрачной
водою.

У Ренаты в руках букет красных роз, связанных
голубой лентой.

Молчание.

Прошу ее сдерживаться. Она смотрит на меня
мужественными глазами.

Подъезжаем к пристани. Выходим. Нет часовых.

Рената кладет розы к ногам покойника, становится
на колени, молится, закрыв лицо руками. Она не пла-
чет.

Спустя несколько мучительных минут я ее припод-
нимаю; увожу ее. Она уезжает одна. Я остаюсь.

Прошло двадцать четыре часа с момента смерти.
Рассматриваю лицо: оно еще больше опухло, потемнело,
появилось немного крови около ноздрей, в углах рта.

Время идет. Часовые сменяются.

Неотступно во мне один и тот же вопрос: зачем?

Входит Луиджи Брешиани, один из самых предан-
ных друзей Джузеппе Миральи, его учитель авиации;
хотя и моложе его. Смотрим друг на друга и не
можем удержаться от слез. Плачем, обнявшись.

Потом отрывочные слова, объяснение причин ката-
строфы, техническое обсуждение, новые подробности
и молчаливые взгляды, которые проникают в душу до
глубины.

Два матроса вносят мой венок из белых и красных роз.
Располагаю его около головы. Кладу около его правой
щеки (той, которая раздроблена) букет Ренаты.

Время проходит, все в том же ужасе. Иду посмот-
реть на лицо Джорджо. Оно восковое, но спокойное.

Глубокий мир преображает его. Ночь. Выхожу. Возвращаюсь домой пешком по бастиону Сант-Анна.

Луна уже высоко, за крышей с десятью трубами. Сухой холод. Улица Гарибальди полна народа. Каждую минуту у меня галлюцинации: вижу, как Беттино идет передо мной, в своем черном плаще, своей быстрой походкой.

Прохожу через Риву дельи Скьявони, через Пьяцетту, через Пьяццу.

Прохожу мимо его дома. Вхожу в тупик, который ведет к Корте Микелье. Стены дворцов давят меня, как ледяные.

В вестибюле слабый свет. Поднимаюсь по темной лестнице, дрожу. Женский голос спрашивает:—Кто там?
— Свой.

Наверху лестницы стоит хозяйка. Говорит мне, что комната его заперта. Ее запер Джиджи Болонья, который приходил взять шпагу, треуголку, медали. Спускаюсь, с такой тяжелой грустью, что хотелось бы не дойти до конца лестницы.

Бегу. Озноб леденит мне спину.

Санта Мария дель Джильо: барельеф из Зары.

Мосты.

Узкий переулок. Каза Росса. Рената тревожная и бледная.

Садимся за стол. Почти ничего не едим. Друг наш здесь с нами. На столе конфеты, которые он любил, как лакомка-ребенок. Но нет цветов. На серебряном подносе остались пустые вазы, две стеклянных маски: Арлекин и Панталон. Снимаю их и ставлю на камин. Все время говорим о нем. Насыщаемся отчаянием.

Сплю несколько часов с кошмарами. Встаю в три часа ночи. Беру с собой фляжку, полную горячего кофе, которую брал с собою в полеты.

Выхожу.

Лунная ночь, сверкающая и холодная.

Венеция мертвая, в оправе вечных алмазов.

Улицы и площади пустынные. Звук моих шагов почти страшен.

Бьют часы на Понте делла Палья, и крик со сторожевых башен разносится в гулкой тишине. Вдалеке от бастиона Сант-Анна, на стене дома, освещенного луной, вижу тень солдата с винтовкой, стоящего на часах.

23 декабря. — Утро, назначенное для большого полета: чудное утро. Ни малейшего дуновения ветра.

Поверхность лагун совершенно гладкая. Небо безоблачно.

Если бы он был жив! В этот час мы бы вместе готовились, закутывались бы в свои меха, осматривали бы свое оружие, надевали бы свои вязаные шлемы, кожаные сапоги. Были бы веселы, деятельны, полны веры. Джорджо был бы тут и помогал бы в наших приготовлениях. Сумка с воззваниями была бы уже положена под ящик мотора, как тогда для Триеста.

Вхожу в покойницкую.

Там Анджело Беллони. Голова трехугольная, широкий лоб, большие глаза, острые как глаза сокола, не мигающие..

Жмем друг другу руку.

Вижу сейчас же, что покрывало снимали, потому что цветы, мной положенные, смещены. Врач делал впрыскивание, чтобы сохранилось дольше тело.

От родных нет известий. Не знают, приедет ли брат из Валоны, где настигло его страшное известие.

Матросы стоят теперь не у изголовья, а в ногах. Комната уже полна венков, которые лежат на подставках. Формы без красоты.

Чистая форма венка искажена.

Бессмысленны погребальные венки, составленные тщеславными садовниками. Есть один поддельный, из фарфора и цинка.

Тени венков колыхаются на стене. Пламя свечей мерцает, отражаясь в штыках.

Вижу двух других матросов на часах сквозь приоткрытую дверь, которая ведет в комнату, где лежит механик.

Анджело Беллони садится рядом со мной.

Он немного глух. Говорит, не переставая.

Чтобы отвечать ему, я должен приложить свои губы к его правому уху.

Это близкий и искренний друг умершего.

Говорит о нем. Как он его понимает!

Нежность друзей юности.

Подражает некоторым из его движений,—рассказывает о его маленьких привычках.

Особенно хвалит его глубокую доброту, скрытую, застенчивую. Приводит пример за примером.

Говорит также о том, как тот меня любил, как много получил от того, что встретил меня. Говорим, говорим. Душа друга оживает, присутствует, действует. Встаем почти вместе, внезапно, с одной и той же мыслью.

Раскрываю лицо покойного. Ужас! Нос вспух, налился кровью, ноздри полны ваты. Отвратительный тампон из ваты закрывает ему рот. Бронзовый цвет стал еще темней, уже не отликает золотом.

Задыхаемся в душной атмосфере цветов, свечей, смерти. Ужасный вкус на языке. Выходим, видим сквозь стеклянную дверь совсем ясный день!

Сколько же часов прошло?

День, день великого полета.

Почти восемь. В этот час мы бы уже летели по направлению к Анконе. Мы были бы уже за Пунта Маэстрой, по ту сторону печали, по ту сторону жизни, по ту сторону самих себя.

Выхожу на пристань.

Красное солнце над водой. Ясное небо. Солнце юное и могучее, солнце устремленное, катящееся к полудню.

Лагуна похожа на шелк, переливающийся как опал. Наклоненная колокольня Сан Пьетро кажется перламутровой.

Моторная лодка энергично стучит.

Джорджо уже не слышит ее, как биение своего стального сердца.

Тоска, горе, конец всему.

Возвращаюсь в комнату.

Меня оскорбляют бессмысленные формы венков на подставках из тростника, широкие повисшие ленты с золотыми буквами. Только белые розы Ренаты кажутся живыми и осмысленными. Только большие букеты темных фиалок кажутся достойны смерти.

Не могу дольше выдержать. Ухожу пешком по набережной. В воде отражается красный дом с десятью трубами. Кругом жизнь, ничтожная и крикливая. Люди смотрят на мое лицо, бледное, как у привидения.

Иду в Арсенал. Адмирал тотчас же принимает меня. В сердце схватки боли. Правила войны требуют, чтобы погибший был заменен и чтобы сегодня же утром, в назначенный день, было выполнено задание. Это лучший способ почтить павшего героя.

Перед этим высоким и строгим требованием совести я вкратце излагаю мотивы необходимости не отказываться от великого полета. Он понимает, соглашается.

Говорит, что будет поддерживать мысль об экспедиции, как обещал. Советует мне сговориться с тем летчиком, которого я найду достойным стать на место погибшего.

Он прост, суров, прям. Я раньше восхищался им, теперь я полюбил его.

Говорим о гробе, о похоронах. Он сообщает, что отец, больной старик, не приедет. Скоро исполняется двое суток. Решаем, чтобы гроб был запечатан сегодня в четыре часа дня.

Прощаюсь, возвращаюсь домой.

День так прекрасен, что кажется никогда такого не видал. 23-ье Декабря, — наш день!

Рок не только убил одним ударом моего товарища, но, как нарочно, вызвал из морских глубин необыкновенное утро. Солнце поднимается, с какой-то небывалой силой, которая, может быть, кажется мне такой, лишь благодаря моей безмерной усталости.

Вхожу в дом разбитый, не могу разогнуться. Прошу закрыть ставни.

Снимаю с себя всю одежду, пронизанную запахом смерти. Платок, который вынимаю из кармана, пахнет завядшими цветами и талым воском.

Рената приготовила другой букет роз. Хочет вернуться со мной туда, в Сант-Анну.

Берем гондолу.

Лазурная вода, упоительный золотистый воздух, стаи чаек, слетающих своим клохчущим смехом.

Причаливаем около Джардини, чтобы пройти немного пешком.

Земля твердая и звонкая. Деревья оголенные и мрачные. Смотрю на их ветки, и мне кажется, что они должны сломиться от отчаяния, от одинакового со мною отчаяния.

Спускаемся вновь к гондоле, сворачиваем в канал, вдоль берега сухих деревьев. Привязанный баллон тупо колеблется в воздухе над своей черной клеткой.

Комната загружена новыми венками. Духота еще сильнее.

Рената становится на колени, кладет розы, молится. Выходит, уезжает. Возвращается в гондолу одна, со своей тайной.

И начинается самая ужасающая пытка.

Уже четыре часа, но гроб еще не готов, и паяльщик еще не пришел.

Между пятью и шестью, трупный запах в комнате становится невыносимым. Ухожу, возвращаюсь, опять ухожу.

Встречаю одного нашего славного товарища, молодого летчика, который уже много раз давал доказательства своей храбрости. Отвожу его в сторону, на тротуар набережной, и говорю с ним. Спрашиваю, не хочет ли он заменить погибшего, для далматской экспедиции.

Он колеблется. Наконец, говорит, что твердо уверен в полной безнадежности предприятия, но что, как хороший солдат, будет повиноваться, если получит определенное приказание.

Добавляет: — „Один мотор. Аппарат не надежен. Почти девять часов полета. Наверное упадешь в море. На помощь миноносок нельзя рассчитывать. Но я, впрочем, привык оставаться часами в воде.

— А я ко всему скоро привыкаю, — отвечаю я, на минуту снова обретая свою улыбку.

Затаенный пыл моего погибшего друга встает предо мной. Вижу его руки на руле, зеленоватые глаза за стеклами маски. И чувствую, что никогда, быть может, уже не найду себе равного в любви к року.

Решаем поговорить об этом с комендантом Валли. Глядя на мое твердое лицо, юноша овладевает собою и уверяет меня, что будет счастлив совершить этот полет со мной, если выяснится, что эта попытка необходима.

Но один из товарищей, подойдя к нам, вновь сеет сомнение, утверждая, что этот полет был бы оскорблением памяти покойного.

Вечер опаловый, золотой, янтарный. Горизонт горит драгоценными камнями, как длинная вереница тронов. Блеск потухает и гаснет. Небо и лагуна сладко застывают.

Есть ли сладость, которая ранит? Такова она сейчас. Человек, простертый в гробу, равен горизонту. Он — звено Вселенной.

Возвращаюсь: вижу, как уносят венки. Матросы выносят все из покойницкой. Рядом с кроватью на полу стоит открытый гроб. Крышка вертикально прислонена к стене.

Сердце мое бьется так сильно, что я прислоняюсь к плечу Луиджи Брешиани, но кажется и ему нужна поддержка.

Собираюсь с силами, отстраняю того, кто пытается вывести меня на воздух. Я твердо решил не покидать моего друга до последней минуты. Остаюсь на ногах, молча.

Комната пуста. Матросы вынесли все венки. Свечи оставлены. Из моих цветов, лежащих на покрывале, позволяю вынести лишь первые и последние, кроме букета белых цветов с белой лентой.

Покрывало снято, виден остов кровати, видны колеса. Я содрогаюсь, когда при вспышке огня вижу под кроватью темное пятно.

Знамя снято с изголовья, марля снята с неузнаваемого лица. Четыре матроса берут простыню за четыре конца.

Открытый гроб стоит на полу, параллельно кровати. Он внутри обделан свинцом, ножки его позолочены.

Держу руками подбородок, чтобы не стучали зубы. Четыре матроса поднимают простыню.

Тело разлагается. Вижу, как сложенные руки отделяются друг от друга, связанные ноги колышатся, голова опрокидывается, как инертная тяжесть, руки матросов напрягаются, два гробовщика в головах и в ногах помогают укладывать тело, равнодушные, как будто дело идет о товаре.

На несколько мгновений нагнувшиеся матросы заслоняют от меня покойника.

Гробовщики направляют движения матросов в полголоса. „В эту сторону, дальше. Так. Теперь вниз. Так. Мерка верна. Точь в точь“.

Мерка верна. Тело как раз помещается в гроб. Связанные ноги упрутся в одну стенку, голова в другую.

Вокруг меня какой-то окаменелый ужас.

Своей душой чувствую душу Луиджи Брешиани, самую нежную, самую преданную, самую чистую.

Я приближаюсь один, подхожу, становлюсь на колени, смотрю на покойника, кладу букеты роз на его бедные ноги, переломленные и связанные.

Руки пожелтели, лицо стало почти черным, как лицо мулата. Рот закрыт тампоном ваты.

Нахожу мужество прикоснуться губами к его рукам. Встаю, задыхаясь, поворачиваюсь, иду к Луиджи: он совершенно побелел, у него рот, как у плачущего ребенка. Прижимаюсь лицом к его плечу, рыдая.

Слышу, как кровать провозят мимо меня, на колесах, к двери, открытой во двор. Врывается наружный воздух и освежает атмосферу, невыносимую от запаха цветов, воска, тления.

Раскрываю глаза.

Гроб закрыт свинцовой крышкой. Паяльщики держат в руке лампу, в которой синее пламя с желтым языком ревет и своим ревом наполняет тишину.

Один из рабочих держит паяльную лампу, другой—огарок, чтобы освещать работу.

Дверь в портик открыта. Дует холодный ветер, и свечи нагарают и текут. Копоть забивается в нос.

Человек с лампой в руках—молодой брUNET, с невозмутимым лицом, высокого роста, широкоплечий. Другой—лет пятидесяти, с измученным грустным лицом и седеющими усами и волосами. Стоят согнувшись рядом, с трубочкой, с паяльником, с оловом для плавки, и заняты спайкой свинца.

Слышен рев пламени, которое направляет паяльщик.

Все остальные звуки поглощены.

Только тишина и один этот голос.

По временам он становится решительным: напоминает стук мотора.

Стрелы пламени запечатывают вечность. Время тянется бесконечно.

При каждой короткой остановке паяльщика думается: „Вот, кончено“. Но шум не прекращается. Рабочий утирает пот с лица рукою и продолжает работу. Другой осматривает уже запаянную сторону, наклоняясь над спайкой, разглядывая ее сбоку. Находит скважину, предупреждает товарища, который подходит к нему и заделывает.

Это вторая стадия расставания.

Отныне тело отделено от меня, сокрыто, одиноко, уже принадлежит могиле. Скоро он будет в церкви. Завтра его отнесут на кладбище, поставят в покойничью, чуждую, неведомую комнату. Трижды отдаленный.

В один из ближайших дней он будет опущен в могилу, положен в землю, погребен. Четырежды разлученный.

Он казался мне еще таким, когда лежал здесь, хотя и разбитый, хотя и обезображенный. Теперь же он заточен в плен.

С ним розы, на его перебитых ногах.

Он не смог бы встать, даже если бы позвал его сам Христос.

Над ним тяготеет свинцовая крышка. Гроб запаян, печать наложена в совершенстве.

Теперь он там, уже дышет не нашим воздухом, тем, которым я дышу, но другим—воздухом могилы, воздухом вечности, который не поглощается его легкими в разбитой груди.

Седой человек осматривает место спайки, светя себе огарком, который едва не обжигает ему пальцы. Еще находит где-то скважину, и шипящая лампа, которая уже была отставлена в угол комнаты, берется снова в руки. Пламя опять мечет свои стрелы, вся спайка снова обводится, сглаживается.

Раздается голос холодный, бесчувственный:—Опилки.

Оборачиваюсь: это врач госпиталя, морской врач, маленький, седой, прилежный, аккуратный. Повторяет:—Теперь опилки.

Не понимаю его; мой взгляд осматривает весь пол.

Недалеко от своих ног, вижу что-то белое, что моим усталым глазам представляется лепестками от роз, роз Ренаты.

Слегка наклоняюсь. Это куски ваты.

Немного дальше, посередине комнаты, вижу то темное пятно, которое тогда заметил под кроватью.

Это кровь, кровь и гной, которые просочились сквозь матрац. Мне кажется, что сердце мое падает в самые пятки.

Матрос приносит опилки, и один из двух паяльщиков рассыпает их над свинцовой крышкой. Зачем?

Против сырости, чтобы предохранить металл от сырости.

Для того, чтобы опилки проникли в промежуток между деревянным гробом и свинцовым, оба рабочие быстро ударяют ладонями руки о деревянные части, как это делают некоторые массажисты для укрепления мышц. Знаю, что в этом искусстве такой прием имеет определенное название. Слышен стук дерева. Закрываю глаза.

Представляю себе, что мой друг вдруг проснулся и стучит изнутри. Чувствую, что моя изнемогающая душа близка к бреду, к галлюцинации.

„Довольно, довольно!“ кричу внутри себя, но крик не вырывается наружу.

Эти люди тщательно продолжают свое дело, пока не заполнен весь промежуток.

Затем рассыпают по крышке оставшиеся опилки.

Потом берут деревянную крышку, прислоненную к стене.

Пламя продолжает шипеть, на земле, около окна, затушенного знаменем.

Деревянная крышка вставлена на место, придавлена, прилажена. Один из людей принаравливает и заворачивает винты.

На крышке золотой крест и выгравированная медная дощечка.

Между тем, один из матросов, с тряпкой, привязанной к палке, вытирает на полу кровавое пятно. Окончив, проходит около меня, почти задевая меня торчащей палкой с повиснувшей на ней тряпкой.

Гроб готов к выносу около семи часов вечера. Слышен крик со сторожевых башен.

Четыре матроса поднимают гроб на двух канатах.

Я подхожу, берусь руками за дно и поддерживаю тяжесть.

Ударяюсь при выходе о притолоку двери.

Выходим во дворик. Ставим гроб на повозку. Длительная операция, потому что гроб качается: трудно установить равновесие.

Наклоняюсь, чтобы прочесть то, что вырезано на дощечке: имя и два числа. Он родился в *летнее равноденствие*: 21 июня 1883 г., умер в *зимнее*: 21 декабря 1915 г., тридцати двух с половиной лет.

Повозка направляется к часовне.

Часовня ничем не украшена. Алтарь не освещен.

Ничего уже не вижу, ничего не ощущаю. Меня охватывает страшное отупение.

Черное с золотом покрывало возложено на гроб.

Матрос стоит около меня с цветами, ожидая, чтобы я их взял и опять расположил на покрывале.

Два паяльщика работают у гроба Джорджо, механика. Шипение пламени доносится до моих ушей в то время, как прохожу мимо двери первой пустой комнаты. Ускоряю шаги.

От запаха цветов и воска мне становится дурно.

Выхожу.

Мрак. Бродят тени. Голоса. Запах кухни, запах бедноты.

От времени до времени вздрагиваю. Передо мной

как будто развевается короткий, черный плащ. Колени мои подламываются от усталости. Кажется, я никогда не дойду до своего убежища.

24 декабря. На набережной Сант-Анны толпа простых женщин собирается около ворот госпиталя.

Лица страдальческие, лица изнуренные усталостью и горем, скорбные лица.

Дети худые, грязные, грустные, с огромными глазами.

Вода в канале точно больная.

Красноватый дом с десятью трубами воронкой.

Небо серое, сырое, холодное.

Переступив порог часовни, не вижу ничего, кроме двух гробов среди стен из венков.

На алтаре зажжены все свечи.

Кто-то мне говорит: „Вот брат“. Вижу брата, такого же маленького роста, с энергичным лицом, с короткой черной бородой. У него непрерывно дрожит челюсть, как будто он жует что-то невыразимо горькое.

Он приехал из Валоны, где командовал отрядом миноносков. Бросил непрерывное крейсирование днем и ночью и поспешил приехать. Застал уже запертый и запечатанный гроб. Принес с собой дуновение войны, зеленый запах нижней Адриатики, от него веет натиском миноноски, преследующей врага стремительностью метко направленной торпеды. Это настоящий человек.

Не хочется произносить ни слова. Зубы мои стиснуты.

Прохожу мимо кучки офицеров. Одинокو становлюсь на колени перед гробом около того места, где покоится его голова.

Его голова невидимая, всего на расстоянии полуаршина от меня. Она тут. Вижу ее сквозь покрывало

и сквозь дерево. Вчера к вечеру он уже почернел, опух. Прошла еще ночь. Сегодня третий день. Разложение продолжается.

В костях у меня страшный озноб. Прикасаться к смерти, погрузиться в смерть, имея сердце живое!

И все же еще раз мы одни, мы двое, одни, как во время полета. Все остальные мне кажутся чужими, даже брат. Мы одни.

Священник служит заупокойную обедню.

В глубине часовни матросы вторят его молитвам глухим и сиплым хором.

Чувствую неподвижность своего тела. Болят колени, не могу двигаться.

Вот священник подходит к запечатанному гробу, с книгой, и между двумя свечами читает молитвы за усопших.

Но друг мой все еще здесь. Когда служба окончена, чувствую, что предстоит преодолеть еще много ступеней расставания.

Пока он еще тут, он мой. Чувствую его разлагающееся тело. Вижу белые розы на его связанных ногах.

Но подходят четыре матроса, чтобы поднять гроб на широких ремнях.

Они уносят его.

Сердце сжимается и содрогается. Покойник еще немного отделился от меня.

Инстинктивным движением подхожу и подставляю руки под гроб, ощущаю его тяжесть. Покрывало закрывает мои руки до локтей.

Иду и не вижу ничего, кроме черного покрова с золотом и цветов. Цветы Ренаты тут, с голубой лентой, вместе с моими.

Идем, идем. Чувствую близость воды.

Идем по доскам. Сзади другой гроб, который нас нагоняет.

Лодка, обтянутая черным сукном с серебром, ждет у пристани. Стою на берегу. Гроб колышется, удаляется от меня. Не достаю его более рукою. Закрываю глаза.

Матросы переносят его в лодку и ставят, обратив ногами вперед. Второй гроб ставят рядом.

Потом — венки, венки, венки, один над другим. Будто сон, будто зрелище, будто феерия.

Под серым небом желтый, красный цвет режет глаза.

Проходят, проходят мимо, без перерыва, матросы с венками, с венками без конца.

Проходят, входят в лодки, наполняют погребальную лодку, наполняют еще две другие.

Будто июньский праздник, когда лодки приезжают с островов, нагруженные цветами и фруктами.

Еще, еще венки.

Какое-то круговое движение, почти танец, почти священная процессия: что-то античное и языческое. Изумление заглушает печаль.

Лодки переполнены. Моторы стучат.

Морская процессия приходит в движение, проходит под деревянным мостом, полным народа, который смотрит с сочувствием.

И народ в молчании сам образует собой венок на полукруглом мосту.

Лодку с двумя гробами берут на буксир. Другая, нагруженная цветами, плывет слева.

Черная гондола, с окнами, в которых виден священник и его служка, плывет борт о борт, справа.

Плывем медленно, по бесцветным лагунам, рассеваемым бледным следом, струею смерти, вдоль канала, размеченного столбами.

Вода низка, виднеется дно.

Вот розовые стены, которые опоясывают остров мертвых.

Оборачиваюсь, чтобы посмотреть вниз на Казино дельи Спирити, сады Томазо Контарини, наши любимые места. Летние вечера, лунные ночи, гондолы, полные женщин, принадлежащих другим, пренебрежительная грусть.

Мы на берегу, под стеной из рассыпающихся кирпичей, над которой поднимаются кипарисы.

Причаливаем.

Будто сон с иного берега, из иного мира.

Опять стою на каменной мостовой.

Вновь иду за гробом, вновь прикасаюсь к нему, берусь за него.

Входим в ограду, под портик. Идем к воротам, к покойницкой, где оба тела будут стоять до понедельника—до похорон.

Не могу отойти от своего гроба, вхожу в выбеленную, холодную комнату.

Гроб стоит на двух подставках. На нем лежат еще покрывало и мои цветы.

Я ухожу вглубь себя и еще раз прощаюсь с гробом (его тело содрогается от этого постоянного движения, от толчков в стороны при установке гроба), и в это время начинают вносить венки.

Некоторые из них огромны. Матросы располагают их вдоль стен, один над другим.

Их сто, больше ста.

Духота невыносимая. Цветы еще живые, цветы завядшие. Все помещение завалено ими. Чтобы дать им место, нужно мять венки, сдавить их...

Мне делается дурно. Меня выводят наружу, на воздух.

Кажется, я никогда больше не буду любить цветов. Я отравлен этим страшным могильным запахом.

Голова моя опустела. Я в полусне.

При выходе из часовни, распорядитель похорон, комендант Валли, останавливает оба гроба среди двора.

Вижу людей, поставленных квадратом. Сопровождающие располагаются кругом. Вижу адмиралов, генералов, офицеров, с обнаженными головами. Брат стоит рядом со мной. Полная тишина. Чего ждут? Озираюсь и вижу глаза, устремленные на меня. Что нужно сделать?

Комендант Валли подходит ко мне и спрашивает, не хочу ли я сказать слово?

Думаю, что я еще более побледнел, потому что он предупредительно говорит мне: „Нет, нет, если не можете, если вам трудно говорить“...

Кругом страшная тишина.

Серое небо спускается над моей головой, как железный обруч.

И безмолвие, кажется, продолжается вечно.

Я должен исторгать слова из своего сжатого сердца. Брат смотрит на меня. Внимание всех устремлено на меня. Томительное ожидание, которое растет с минуты на минуту.

Делаю шаг вперед, потом оборачиваюсь к гробу.

Не вижу другого гроба, забываю о другом мертвеце.

Говорю голосом, от которого сам содрогаюсь до мозга костей и которого почти не узнаю.

Вижу, как по одному лицу текут слезы, и голос мой прерывается.

После того, как покойницкая совсем заполнилась цветами, сторожа закрывают ее. Слышу, как за мной запирают двери.

Идем к берегу, где стоят лодки.

Кто-то подходит ко мне и показывает мне записку, которую гребец на душегубке привез из Казино дельи Спирити.

Розалинда здесь, приехала сегодня утром неожиданно. Пошла в Казино, чтобы присутствовать при том, как приплывет и причалит погребальная лодка. Хочет видеть меня, говорить со мной. Просит приехать к ней.

Не могу. У меня нет больше сил. Подожду ее в Каза Росса, если она будет в состоянии приехать до отъезда. В два часа она должна ехать обратно, а теперь уже двенадцать.

Моя лодка, возвращаясь, проходит мимо стен Сан Микеле, из красного кирпича с фундаментом из светлого камня.

Вспоминаю летнюю ночь, августовскую ночь. Мы ездили в Мурано в гондоле. Розалинда была с нами. Лагуна была залита таким фосфорическим светом, что каждый удар весел вздымал длинное белое пламя, Мы наклонялись, чтобы смотреть. Лица женщин освещались снизу фосфорическим блеском. Проезжая мимо стен кладбища, мы перестали смеяться и шутить.

Слышался размеренный шум весел. И под мрачными стенами фосфоресценция создавала световые венки и гирлянды.

Световая мелодия венчала остров мертвых.

Он ее слышал, видел. Здесь было его место упокоения.

Передышка. Он на кладбище, но еще не похоронен, не опущен в землю. Его могила уже вырыта, но будет засыпана только после святого дня.

Страдание стало менее острым. Нахожусь в состоянии мрачного оцепенения, изнемогаю от усталости.

Рената молчит, замкнувшись в своей тайне, под густыми бровями ее глаза устремлены в одну точку, как непобедимые глаза Римских Орлов.

В доме могильная тишина, он окружен мертвой водой, как тот остров, где я оставил своего друга.

Палаццо деи Леони стоит тут, на канале, со своей высохшей травой, с видом полного запустения, как сказочное жилище. Уже не раздаются крики белых павлинов на ступенях позеленевшего мрамора, только чайки носятся взад и вперед над бледными водами, ныряют, взлетают тише, чем хлопья снега в безветренный день.

Кто-то звонит у входной двери.

Не могу больше слышать звонка, не вздрагивая. Это Розалинда, трепетная, окутанная вуалью, с распростертыми руками. Я уже не ждал ее.

Вечер быстро надвигается.

Я должен проводить ее на вокзал.

Беру гондолу.

Входим как в темный гроб. Весь канал во мраке. В каютке гондолы не вижу ее. Здесь так же темно, как должно быть там, в его гробу, среди всех этих вянущих венков.

Вечер, спускающийся на остров мертвых, пустынный двор с оградой, разбитая мостовая, печальный колодец, как могила среди могил, запертая дверь в покойницкую. Яма, вырытая в сырой траве, кресты частые и торчащие, как иглы на кустарнике, колокольный звон по воде, гудки плывущих мимо пароходов...

Оставляю ее порывисто на темном берегу, где бродят призраки. Возвращаюсь в каюту.

Мой друг лежит в своем свинцовом гробу, так же, как я в этой плывущей тюрьме, где пахнет плесенью и гниением над отливающим морем.

Вдруг мне становится страшно. Кто-то здесь есть со мной. Остаюсь недвижимым, с глазами устремленными на дверцу.

Пока я пишу в темноте, мысль моя прерывается, и рука останавливается.

Тогда полоска бумаги, которую я направлял, сначала коробится, потом бесшумно падает на мои пальцы.

Содрогаюсь от ужаса. И остаюсь недвижимым, весь цепенея, не смея больше начертать в темноте ни одного знака.

II

Сегодня ночью кровать колыхнется и дрожит, как двойное крыло, распростертое между морем и небом. Раскрываю уста, чтобы испытать живительную влагу Адриатики, но ни одна капля не освежает мне горла.

От иода мой рот стал металлическим, мое горло стальным. Сталь раскалена в пламени моего горящего глаза и закалена в моей крови. Кричу и не слышу своего крика.

Бледное лицо Альфреда Барбьери на краю кровати, как на краю аэроплана, но без маски и без кожаного забрала. Жест пилота проходит в моей онемелой руке, но не может двинуть ее.

Вижу, как черная перчатка Оресте Саломоне отстраняет упавшее на руль тяжелое тело, в то время, как Луиджи Байло встает на ноги и отстреливается с кормы против врага, с каждым кругом аэроплана попадая ему под прицел.

Тело падает направо. Голова повисла. Забрало наполняется, как круглая чашка. Брызги крови летят подобно искрам от угля, сгорающего на ветру.

Луиджи Байло возвращается на корму через мостик между двумя резервуарами. Он уже не держит оружия. Одной рукой поддерживает другую, покалеченную руку. При руле остается только один невредимый пилот.

Его надо охранять, чтобы он мог вернуть на родину крыло и его ношу. Раненый наклоняется над своим

товарищем, больной и безоружный, чтобы послужить ему щитом.

Вижу сквозь маску, сквозь одежды и покрывала высшее преображение в тесном круге человеческого лица: вижу бога в жертвенной чаше. Вот еще раз ранится раненый третьим ураганом огня. Благородный щит сокрушен. Но воля его разгорается в искрящихся брызгах пурпура. Шатаясь, он подается назад, прислоняется к резервуару, старается твердо встать на ноги, которые подкашиваются. Не хочет сдаться. Он может послужить еще щитом. Он еще нужен.

Оресте от времени до времени оборачивается и смотрит на него. Отрывает руку от руля, чтобы прикоснуться к брату жестом бодрящей ласки.

Еще раз оборачивается, и видит его простертым навзничь на мостике окровавленной грудой. Тот, кто остался в живых, обладал одной жизнью. Теперь три жизни обитают в нем и вся неукротимая любовь.

Грудь моя разрывается от крика, но не слышу своего голоса.

Кровать колыхается, срывается и летит в пропасть. Пустыня камней, сыплющихся и рыхлых, несется навстречу моим глазам, которые не смыкаются. Мгновения кажутся вечностью. Падению нет предела.

Вот бледные горы Карсо. Вот темный лес Тарновы. Вот лазурный Изонцо. Мне кажется, что в падении я вижу белеющий блеск своих костей. Рот мой открыт и сух, как одна из тех трещин в обнаженном известняке.

Горю. Пот струится, как слезы, которые не нашли себе выхода через веки.

Полдень. Улицы Порденоне пустынные и печальные.

Сквозь аллею оголенных деревьев проглядывает божественный сапфир гор. Бродячая собака бросается под колеса автомобиля.

Под'езжаю к двери комендатуры. Она прикрыта. Толкаю ее. Поднимаюсь. Не знаю, почему мне жутко от звука моих шагов на досчатом полу. Дом пустынен. Никого не видно.

Зову.

Белокурый пехотинец показывается за барьером, что-то бормочет, давясь куском хлеба, которого не может проглотить.

Бессознательно спрашиваю его:— Полковник Барбьери в лагере?

Он как будто не понимает. Силится проглотить затрудняющий его кусок.

— Он меня ожидал сюда,—прибавляю я:—где он?

Солдат не отвечает, поворачивается и уходит в соседнюю комнату.

Тишина так велика, что с моего места мне слышно его жевание. Порыв ветра заставляет звенеть стекла, на которых я различаю все шероховатости. Примечаю вертикальные линии на обоях, узлы в дереве барьера. В атмосфере есть что-то такое, что меня располагает истолковывать малейшие знаки.

Солдат возвращается ко мне с охапкой мехов в коричневых пятнах, от запекшейся крови. Кладет на барьер ужасную ношу, как торговец кусок сукна, который он собирается измерить аршином. Это одежды Альфреда Барбьери, то, что осталось от него после экспедиции в Лубьяну.

Воздух стал как ледяной кристалл. Он обладает теми же свойствами, как тот тонкий духовный холод, который в первые часы смерти веял вокруг чела усопшего. Прямой мой быстрый путь рассекает его, как алмаз режет стекло. Свист пронзает мне мозг.

Приезжаю в Комину. Сражение не волнует закаленные сердца. Товарищи встречают меня с улыбкой.

Чувствую, что аппетит полуденного часа одолевает молодёжь, превыше других забот.

Восхожу еще на одну ступень крестных мук. Вхожу в маленькую комнату, где Оресте Саломоне лежит на походной кровати. Сперва вижу только повязку на его лбу, но уже не вижу потом ничего больше, кроме великодушных его глаз, неподвижных на бледном лице.

Кажется, будто и он потерял всю свою кровь, развеянную ветром полета, как и те двое, хотя пули сорвали с головы его только кусок кожи и прядь волос сквозь толстый шлем.

Он будто изваян из слоновой кости, в нем нет кровинки. Силы покинули его. Сверхчеловеческая мощь его героического подвига разлилась во вселенной, она больше не в нем. Его подвиг подобен столбу несокрушимо, воздвигнутому над ним, простертым и покорным.

Все завершилось, все исполнилось. Комната замкнута четырьмя стенами, как гроб четырьмя досками.

Великодушные оцениваются наградой, размером не больше монеты. У изголовья среди аптекарских склянок блестит новая медаль, штампованная, лишенная красоты.

Рука героя слаба, как рука ребенка. Держу ее в своей руке, как бы для того, чтобы приобщиться к его славе, с той божественной тоской, которую дает жажда героической жертвы: — в этом мое искушение, искушение всей моей немощи и моих падений.

До того, как он начинает говорить, меня грызет обида на судьбу. В Лубьянской экспедиции пост на носу аэроплана был предназначен мне: боевой пост вождя у орудия из стали с отливом лазури.

— Мы ждали тебя до полуночи, — говорит аскет из слоновой кости.

Я представляю себе это напрасное ожидание в тихо освещенном кафэ, на пустынной площади.

Такой великий жребий должен был быть брошен судьбой на грязном каменном столе, между недопитыми рюмками ликера и золой от сигар.

— Не едет,—сказал Альфредо Барбьери в полночь.

— Жаль,—он был маяком для отряда.

И повторил стих из моей „Электры.“

После краткого молчания, точно вслушиваясь в далекую ночь, он прибавил:— Так я замещу его.

Луиджи Байло пытался отговорить его. Если он не приедет вовремя, мы дополним груз лишними бомбами.

— Нужен вождь,—возразил великодушный.— С вами будет ваш комендант.

Погас свет в печальном кафэ. Судьба подменила во мраке игральные кости. Смерть вычеркнула мое имя и быстро начертала другое.

Это неправда, что смерть равна для всех.

Голос избежавшего смерти звучит тихо, доносясь как будто не из кровати, но из сокровенных тайников какой-то крипты, насыщенной той живой мощью, которая исходит от священных реликвий. Все время держу его руку в своей руке и наклоняюсь к его затрудненному дыханию.

Моя грудь разрывается при каждом его слове, которое, мне, живому, рисует мою смерть, мне, обманутому, мою славу. Мне кажется, что моя грудь опустошена от всего плотского, что дышит и трепещет и полна лишь каким-то неизреченным чувством—не сожаления или раскаяния, не озлобления, скорби или ярости, и не изумления, или экстаза, или воспоминания, но всех этих безысходных страстей вместе.

„Говори мне, говори“. Герой, смертельно бледный, слабеет все более. Паузы становятся все длиннее и длиннее. Я безжалостен. Возбуждаю его слабеющие силы. „Говори мне“.

Он говорит мне не о чем ином, как обо мне самом: мне — поэту — он говорит о моем вдохновении, мне — воину — о моем мужестве. Я тень, которая вернулась с кровавого пути неба. Я крылатая тень, внимающая мифу о самой себе.

Дважды ранен в голову был славный герой, из одной раны кровь окропляла соратника, из другой она струилась по утреннему ветру...

Но вот, я вижу, как над большими карими глазами вдруг опускаются ресницы и слезы наполняют ввалившиеся впадины глаз.

Молчание. Прижимаюсь щекой к краю подушки и не двигаюсь; в каком-то экстазе я уношусь за пределы своего сознания вместе со своею скорбью, которая сильнее нас обоих; со скорбью, которая стоит передо мной в образе властного существа.

Вот нас опять трое, как на воздушной боевой корме. Для другого полега? В какое новое небо?

Воздух снова становится подобным ледяному кристаллу под острим алмазом быстрой езды. Возобновляю бег. Мне кажется, что я жив наполовину. Половина души умерла. Другая половина находится в движении, обращена с любопытством к вещам этого мира, наблюдает механизм своей трагедии.

Представляю себе орудия Страстей, висящие на кресте, с которого уже снята тяжесть распятого тела. Представляю себе высокие кресты, воздвигнутые на рас-

путях сомнений, кресты без распятого; и на вершине их—бдящий петух, не пропевший в третий раз.

Крест жертвы был построен из дерева четырех родов: кедра, кипариса, пальмы и маслины. На нашем западе не заменяем ли мы кедр и пальму ясенем и тополем, из которых сооружает себе крылья герой-человек?

Гонарский лагерь мрачен, как Голгофа. „Римский орел“ один, в стороне, вдали от ряда легких аэропланов, на расстоянии двух локтей от канала, каким-то чудом избегнутого во время рокового падения. Его двойные поперечные крылья между носом и рулями образуют жертвенный крест, он лежит на равнине, но воздвигнут на высоте. Он кажется прочным сооружением из дерева, металла и полотна, но в действительности это духовная сущность. Кажется бездушным, а между тем весь напоен душой, как парус, вздутый попутным ветром.

Он кажется немым, но в обеих каютах, среди двух моторов, среди двух лодочек, по стальным проволокам, во всех частях сложного механизма царит то безмолвие, в котором для внимающего ему звучит незабвенное слово: завет крови.

Нет места, которое не было бы окроплено. Кровь запеклась, и все же она струится над моей головой, когда я наклоняюсь между колесами, не решаясь стать на колени в присутствии посторонних свидетелей. Ее капли мириадами оживают, становятся теплыми и алыми, подобно тому, как бурая кровь реликвии, внешне растворяясь, алеет в стеклянном сосуде.

Поднимаюсь по остову машины свнутренней дрожью, и капли крови запечатлеваются на ладонях моих.

Переживаю свою смерть, вновь прохожу испытание смертью. Вот я на своем посту, против иссиня черного пулемета, спиной к двум рулям. Сердце подступает

к горлу, стучит в небе, ударяет о зубы. Действительность разрывает мой сон; сон врезывается в действительность.

Слышу шум легких аппаратов, поднимающихся с поля, чтобы регулировать стрельбу артиллерии, пролетая над станцией воздушного телеграфа.

За дулом вражеского орудия, которое посылает мне первый ураган огня, различаю страшный белок глаза. Вижу на желтом поле положенные в ряд серые бомбы с блестящими рулями.

Меня проникает ощущение неба, сотрясаемого волнами, которые несут весть о далеком сражении на Карсо.

Вижу коварный жест врага, кружащегося над нами, который приглашает спуститься и сдаться.

Оборачиваюсь, вздрогнув, как будто кто-то до меня дотронулся. Направо от руля, оставленного Луиджи Байло, на краю аэроплана, по линии аппарата, для прицела, вижу в точности то место, на которое опирается моя шея,—как место на плахе, указанное коленопреклоненной жертве палачом.

Какая властная рука толкает и пригибает меня?

Моя голова валится, свисает. Кости мои леденеют.

Точно темная отвесная полоса крови исходит из зачарованного моего глаза.

Лики, лики, лики,—страсти всех ликов проносятся чрез мой раненый глаз, неисчислимы, как горячий песок через кулак.

Ни один не задерживается. Но я узнаю их.

Не такова ли римская толпа, в майский вечер, на Капитолии?

Огромная, волнующаяся, ревущая.

Чувствую, как горит моя бледность, подобно белому пламени. Ничего моего нет более во мне.

Я подобен демону взволнованной толпы, подобен гению свободного народа.

Моя тридцатилетняя верность, моя любовь и нежность к прекрасной Италии, мужество моего одиночества, моя песнь вопиющего в пустыне, мое пренебрежение к непониманию и клевете, терпеливость моего ожидания, тревога моего изгнания, все это слилось в единый поток раскаленной силы. Все прошлое приливает к грядущему.

Наконец я воплощаю свой символ веры, духом своим и кровью своею. Я опьянен уже не самим собою, но всем своим народом.

Лики, лики, лики, созданные из горящего состава, отпечатанные на кровавом огне.

От толпы пышет огненным горнилом, она тяжело дышит, как вулкан, и гудит, как лесной пожар.

Я увлекаю и сам влеком. Восхожу, чтобы увенчать и быть увенчанным.

Эпическая весна восхищает и увлекает меня.

Весь этот древний, торжественный мрамор растаял в пурпуровой влаге.

Ласточки, рея, касаются крыльями позеленевшего коня Марка Аврелия; при каждом вскрике их он как будто хочет сбросить императора и устремиться к новой судьбе.

Смутный экстаз толпы во мне превращается в отчетливое слово.

Я говорю. Каждое мое слово гулко раздается в черепе, как будто в металлическом куске. От каждого дыхания ломит грудь. Я страдаю и горжусь тем, что моя радость смешана со страданием.

Это страдание творчества. Это муки рождения. Толпа ревет в мучениях. Толпа ревет и корчится, рождая свою судьбу.

За подоконником, покрытым свинцом, вижу тысячи и тысячи ликов и в то же время вижу единый лик, лик полный страсти и ожидания, полный воли и порыва, который горит в моей груди, как благородная рана.

Подобно внезапно рождающемуся народному эпосу, мои слова слагаются в широкие строфы; гул толпы их завершает и разносит вдаль.

Потрясенный возгласом, прозвучавшим громче других, я в смятении умолкаю. Кажется, этот властный крик требует чего-то большего, чем слова.

Неведомая рука кладет предо мной на свинцовый подоконник большую кривую саблю, похожую на палаш.

Беру ее и вынимаю из ножен. Тот крик требовал этого движения. Точно молния проносится над шумящей толпой.

Это сабля Нино Биксио, оружие стремительного героя, с именами побед, вырезанными на блестящем ее лезвии.

Прикасаюсь устами к обнаженному лезвию. Не ощущаю его холода, потому что в губах нет ни кровинки. Вся кровь пылает в сердце.

Опять молчание в толпе. Как вихрь, оно притягивает и вовлекает меня; как водоворот, всасывает в себя и уничтожает мою жизнь.

Я бросаю свою жизнь, я отдаю свою душу иступленному бреду. Последние слова мои подобны тем последним ударам, которыми литейщик направляет в форму расплавленный поток металла.

Толпа точно раскаленная масса. Все устья формы раскрыты, чтобы принять ее. Выливается гигантская статуя.

Я оборачиваюсь. Схожу вниз. Шатаюсь от легкого головокружения. Жажда томит меня. Прошу как милости глоток воды. Женщины из народа, обступив меня, стотрят на меня с жалостью, пока я ожидаю. Грубая рука подает мне стакан священной воды.

Утоляюсь и очищаюсь. Пью и совершаю возлияние, которое предшествует жертвоприношению.

Спускаюсь. Не знаю, кто несет меня. Кругом все пылает: клики, творчество, опьянение, угроза и победа под удушливым небом сражения, пронизанным стрелами реющих ласточек.

Мы страдаем от того, что мы безоружны, от того, что еще не сражались, что не превратились в натиск быстрых легионов, переходящих несправедливую границу.

Всклоченные юноши с безумными лицами, обливающиеся потом, как после борьбы, бросаются под колеса.

Рабочие, почерневшие от работы, согбенные от напряжения, скрюченные от тяжких усилий, рабочие всех ремесл, но мне представляющиеся все кузнецами, ковавшими молотом на наковальне расплавленное железо, простирают ко мне свои сильные руки, как будто для того, чтоб схватить и задушить меня в приступе внезапной любви.

Женщины из народа, могучего телосложения, подобные матери двух трибунов, сходным жестом бросают мне цветок.

Край знамени обвивает меня. Это красное знамя Триеста. Оно все время реет над моей головой. От времени до времени оно колышется, свисает и укрывает меня. Насыщаю его складки своим волнением.

Под красной сенью его складок я слышу первый удар capitoлийского колокола.

Сердце мое раскалывается. Встаю. Колеса останавливаются. Толпа замолкает. Она вся—единая цепь нервов, пронизанная одним и тем же трепетом.

Бьют в набат. Гул меди проникает до мозга костей. Страшный рев заглушает его: Война, война!

Гудит ли он из глубины ушедших веков... или из глубины веков грядущих?

Двадцатая волна веков несет нас, дважды десятая,—двадцативековой прилив.

К войне призывает колокол. То звон уже не бронзы, но алого огня с высот латинского неба.

Война! война! Зарево заката бледнеет перед этими мириадами пылающих очей, перед этой бурей знамен и угрожающих кликов.

Лики, лики, лики, страсти всех ликов проносятся чрез мой раненый воспаленный глаз, неисчислимы, как горячий песок через сжатый кулак.

Если бы я мог передохнуть, как в ту ночь после бури! Я был почти сожжен, как и сейчас.

Я был подобен тем кузнецам, которые целый день трудятся в кузне, беседуя с послушным пламенем, и выходят из нее с пылающим и загорелым лицом, направляясь в таверну.

Я искал себя—и находил лишь свою печаль. Искал своей тишины—и находил лишь свою мелодию.

В эту победную ночь я направлялся к Авентину, по холму Свободы, в одиночестве, как одинокий влюбленный. Я был охвачен плотской любовью к Риму, сладострастной любовью к моему Риму, любовью,

подобной той любви, которая поглотила силы моей юности. Я вдохнул в себя дыхание толпы и теперь жаждал слиться с тайным дыханием моего Рима после стольких лет изгнания, стольких лет тоски и сожалений.

Вверх по улице Санта Сабина я шел, временами останавливаясь под бременем моей жизни, обогатившейся сверх моих сил.

Ночная тень была как будто покрывалом, скрывающим запретную красу. Оно приподнималось для меня, не дерзавшего прикоснуться к ней. Каждый шаг приближал меня к острому блаженству. Пять лет, потерянные на чужбине, отягощали мою душу, щемили мое сердце, но скорбь, казалось, усиливала для меня безгранично жажду возможного обладания.

Пустынная дорога принадлежала мне одному. Я был владыкой холма. Я не поднимал своих глаз к небу, чтобы не рассеять своей любви к земле. Не хотел ни к чему прикасаться в ночи, кроме края темной одежды Рима, одежды без звезд.

Но когда я ступил на узкую площадку перед Приоратом Мальтийского Ордена, безмолвная звезда вдруг задрожала передо мной, сверкнула на высоте моих очей.

Сердце мое дрожало от изумления. Вдоль стен растилалась какая-то осязаемая теплота, и мерцание звезды таинственно колыхало ее.

Сердце мое билось, как в юношеские годы, когда девственному взору впервые раскрывалась таинственная прелесть земли. На воротах, замыкающих Джардино деи Кавальери, вокруг скважины двери, через которые столько зрачков любовались воздушным куполом между пальмами, была разлита какая-то вещая сила, сотканная быть может из дорогих воспоминаний о всех ресницах, коснувшихся ее. И сияние земной звезды над воротами воскрешало во мне на миг представший мне

некогда образ девственного сада, отраженный в юной любви.

Сердце мое билось от прилива безумной молодости! Я был один в безмолвии и во мраке, среди стен, которые жили бледностью, как воспоминанием лунных лучей, один, с тем блуждающим мерцанием, которое влекло за собой сокровенную нить моей жизни. Мне казалось, что я не знаю его, не припоминаю, после пяти сомнительных лет на дальнем Западе. (О, Италия, Италия!) Я следил за ним, как за призывом к новой жизни, с упоением, в восторге, в самозабвении.

Это был первый светлячок.

Другое молчание встает передо мной.

Вечер открыто брошенного обвинения в измене, пытавшейся повторить свой темный удар, тот вечер овеян несравнимым ни с чем молчанием.

Припоминаю звук моих первых призывов. „Слушайте, слушайте. Тягчайшие дела открою я, неизвестные вам. Молчите. Потом поднимитесь все, как один.“

Театр подобен глубокому горнилу.

Вижу, как стынет металл. Кипящий сплав толпы твердеет, принимает очертания грозной статуи, стоит, как подавляющая масса.

Толпа уже не ревет. Она слушает. Уже не дышит. Слушает. Каждый звук проникает в кости черепа и вонзается в них.

Лютая работа молотом против безмолвного сопротивления.

Удар, другой удар, еще один удар.

Грузная масса воспрянула. Литой колосс вновь обретает человечность в своем крике.

Мне кажется, я уже тогда перестрадал это добровольное сожжение. Меня со всех сторон окутывало пламя, зажженное мною самим. Я сам был горящим углем Этолийского мифа. Но когда же положит меня моя мать на свой очаг, чтобы испепелить меня?

И тогда я был мучим жаждой. Хотелось прильнуть коленопреклоненным к римским фонтанам, чтобы утолить жажду, погрузив в воду все лицо.

Почему теперь вы не даете выпить мне холодного глотка воды?

Судьба послала мне тогда вдруг неожиданный случай облегчить лихорадочный жар.

В тот же вечер, при выходе из роскошного театра я увидел в небе красноватые тучи, как будто людские страсти набросили на них свое кровавое отражение. Первая баррикада уже была воздвинута.

Легкая кавалерия уже занимала все перекрестки. Когда я проходил мимо, солдаты приветствовали меня. Я различал с какой-то нежностью воспоминаний под дикой чолкой приморских коней белки их глаз. Проходя мимо них, я с детской радостью трепал их по спине, трогал их гриву. Солдаты улыбались.

Улыбки усталых двадцатилетних лиц, улыбки смутные, как те, что предшествуют сну.

Я вспоминал запах конюшен в Фазенце, стойло моего вороного коня, пытавшегося укусить меня, когда я проводил щеткой под его животом, овес, который я ловко выкрадывал у других, чтобы наполнить его торбу, водопой на заре, когда в сумерках белые лошади трубачей казались мне спустившимися со сказочной луны.

И тогда мой лихорадочный жар спадал, облегчался.

О, приведите мне одного из моих псов, положите его ко мне на кровать, к моим стиснутым ногам, оставьте его в эту ночь со мною.

Сегодня ночью какой-то демон берет мой воспаленный глаз в ладонь своей руки и дует на него изо всей силы надутых щек.

Все образы воспламеняются.

Вот в мой пожар вступает далекая битва на Маасе. Полки, опьяненные эфиром, бросаются вперед, подобные тем горящим участкам сосновых рош, которые в стране моей ссылки называются „contre-feu“, зовутся „встречным огнем“, похожие на огненные стада, гонимые смологонами, взмахами больших зеленых ветвей.

Они бегом приближаются к нам. Растут.

Вижу их сквозь колья и острия проволочных заграждений. Различаю каждое в отдельности из лиц баварцев, искаженных злобой и страхом. Они горят, как кучи хвороста.

Груды трупов превращаются в костры. Не сгорают, не превращаются в пепел. Медленно тлеют без пламени, как торф.

Всю ночь лежу около проволочного заграждения, которое защищает холм. Считаю трупы.

Они запутаны в железных сетях, стиснутые между перепутанными и оборванными проволоками, висят между кольями, как разбойники, плохо пригвожденные к крестам, извиваются, как звери, попавшие в сети.

Нет у них век, нет у них губ. Вижу, несомкнутые, уставившиеся глаза; вижу сжатые и оскаленные зубы.

Вижу, как кровь капает вниз по дереву и железу, чернеет, запекается, липкая, как птичий клей, которым мажут силки.

Нет более росы, нет более зари над миром.

Идет проливной дождь.

Мартовский ливень. Прислушиваюсь к его шуму. Сейчас мой слух мне кажется более тонким, чем тот, который положил на музыку „дождь в сосновой роше.“

В великой воздушной арфе я различаю все струны, почти касаюсь их.

Если бы я мог проделать два отверстия через стену в саду и просунуть сквозь них свои иссохшие руки!

Не слишком ли силен ливень для распускающихся молодых листьев?

Нерисса прислала мне под дождем свою служанку с охапкой цветов, которые она нашла сегодня в Падуе. Сырость проникает в мою комнату, свежесть в мои простыни.

Рассказывая о служанке, сиделка с живостью говорит: „Она пришла без зонтика! С нее течет, как из водосточной трубы. Цветы совсем вымокли, надо подождать, пока они обсохнут“.

Моя непрерывная жажда упивается запахом влажности, которым тотчас же пропитывается окружающая меня темнота. Мое сердце бьется. Прошу милосердную, чтобы она подошла ко мне, чтобы дала мне трогать букет. Умоляю! Угрожаю, что сорву повязку, что брошусь с кровати. Добиваюсь своего.

Цветы кладут на одеяло. Они под моими зрячими пальцами. Ощупываю их, отделяю, узнаю.

Вот гиацинты. Они связаны ниткой в пучки. Стебельки неровные. Вместе они образуют пышную гроздь. Запах при вдыхании усиливается, как боль в царапине.

Вот цагара. Это арабское имя, которым цветок апельсинного дерева называется в сарацинской Сицилии. Я узнал его, юношей, на родном побережье от юнги на шкуне. Это название мне так понравилось, что когда я произношу слово, уже ощущаю запах.

Это тепличная цагара: пучок листьев, которые от прикосновения будто звенят, а в середине твердые, жесткие бутоны. Один за одним ощупываю их. Одни из них совсем закрыты, другие надтреснуты, некоторые на половину распустились. Некоторые из них чувствительны и нежны, как сосок груди, который боится ласки. Запах их чистый, терпкий, молодой. Но нужно найти его, погружая ноздри в листья холодные и мокрые, которые увлажняют мой подбородок и попадают мне в рот.

Вот резеда. Она намокла больше всех, она совсем пропитана небесной влагой. Сильнее всего пахнет верхушка, как кончики пальцев, накладывающие румяна. В ее запахе есть что-то напоминающее сорт маленькой зеленой фиги. Есть еще, если вдуматься, что-то, напоминающее спелую сливу—ренклед. Это запах зланный, скорей чем цветочный, плод скорей, чем цветок.

Мне больше нравится цагара, и имя, и самый цветок. Она тоньше, она более редкая: не венчальная, но девственная. Ищу ее среди листвы. Она погашенный огонь в моем глазу. Она тверда и бела, как роговина глаза.

Вспоминаю большие апельсиновые рощи в Виллачидре, на острове Сардов. Я был тогда гибким зверьком, с тонкими ступнями. Разувался, чтобы ступать юными ногами по белоснежным цветам, которые усыпали землю. Вспоминаю обведенную стеной апельсиновую рощу в Массе, на побережье Амальфи, если не

обманывает меня память. Я тогда еще не совсем оправился от одного злого зелья. Я был в смятении, как будто проник в невообразимый лабиринт. Столы казались изваянными из камня таинственных пещер. Цветы были подобны пене, из которой родится бессмертная плоть. Тень была почти текуча, как вода, и колыбалась под умирающую песнь какой-то изгнанной из моря сирены.

Дождь не прекращается. Слышу, как он хлещет в саду, на берегу, на площадке, на улице. Пославшая мне дар не будет иметь мужества перейти, как ее служанка, через потоп, который заливает потемневшую Венецию. А казалось, что цветы возвещали ее приход.

Тоска неподвижности тяготит меня. Глухой гнев напрягает меня от головы до пят. Вот встану, сброшу повязку и пойду вдоль желобов по крыше. Мое меланхолическое развлечение уже истощилось. В затылке стучит. Из стебельков гиацинтов течет неприятный липкий сок и пристаёт к пальцам.

Но откуда же этот запах фиалок? В комнате есть фиалки? Кто же утаил их от меня? Осторожно протягиваю руки, чтобы поискать кругом себя. Нахожу пучок, который соскользнул с одеяла на край кровати. Сердце мое бьется. Из-за всякого пустяка бьется сердце!

Это пучок фиалок. Мокрый, он не имел запаха. Теплота постели оживила его. Восхитительный сюрприз. Наслаждаюсь ими, как будто бы сам их нарвал на незнакомой лужайке.

Это не фиалки из Падуи. Для меня это скромные фиалки из золотой Пизы.

Вспоминаю один мартовский ливень в Пизе. Мы были на соборной площади. Искали защиты под

архитравом главного портала, стряхивая с себя капли дождя. Там стали ожидать, пока пройдет дождь. „*Imbres effugio*“, говорила на портале красноречивая эмблема.

Дождь мочил короткую траву с равномерным шумом, подобным гудению раковины, приложенной к уху. Прижимаясь к бронзе портала, мы как бы вживались в нее, сливались с ней. Сырость, казалось, еще более оживила красоту матерьяла. Как любопытные дети, мы просовывали пальцы между металлическими листьями, ощупывали маленькие увитые венками головки, проглядывавшие между оливками и листвой. Над нами звучали символы: „*Fons signatus, Hortus conclusus*“.

Изумленные, мы постепенно открывали среди листвы ящериц, улиток, лягушек, птиц и плоды без конца. Пальцы проникались радостью художника, который вылепил эти формы, его мудростью и его творчеством. Чем больше мы восхищенно рассматривали бронзу, тем богаче, разнообразнее и глубже становился в наших глазах ее зеленый налет. Она обогащалась нашими нежными взглядами и дарила любовью за любовь. Над нами звучали символы: „*Onustior humilior, Tantum modo fulcimentum*“.

Шум ливня затихал. Нам казалось, что он докатывается до нас и в нас умолкает, как гармония, создающая эхо внутри Баптистерия. На пустынном лугу, вдоль стен старого города была какая-то прелесть запустения. Тихо стоял Кампосанто архиепископа Убальдо, оберегая святую землю, привезенную для него на пятидесяти трех кораблях.

Тогда мы спустились со скользких ступеней. Сошли с бронзы и мрамора на траву. Темнело. Мы были одни. И жизнь ласково вела нас за руку.

Нам говорили, что от каналов и прудов по ту сторону Кампосанто по вечерам тихо поднимаются лихо-

радочные испарения и стелятся по кроткому лугу. Но мы не чувствовали ничего, кроме трепета расслабляющей весны.

Мы шли между стеной Кампосанто и боковой стеной собора, где был мистический простор для нашей музыки. Внутренние фрески собора в нашем воображении сквозили через стены.

И наша музыка принимала образ той женщины, которая склонилась над псалтирью.

Я был настороже и прислушивался к какому-то смутному желанию.

Я был таков, каким бываю, когда моя прихоть и моя культура, моя страстность и мой разум перестают бороться и сливаются безраздельно.

Я был подобен тайне музыкальной гармонии и на устах моих ощущал всю сладость мира.

Когда я останавливался, моя спутница, которая для меня носила имя Гизола, спрашивала меня: „Чего ты ищешь?“

Темнело. Тень мрамора была голубоватой. Этот мрамор в сумерках становится голубым, как лазурь.

Голубая тень ложилась и на траву, как мазок ультрамарина.

Перед нами разверзлось безмолвие и разделялось вправо и влево от нас на два потока, которые струились вдоль боков наших, как река, скользящая по телу пловца. Наши чувства были просты и невыразимы. Мы были бедны и легки, богаты и легки. Мы были как двое нищих без сумы, как двое царей без короны.

„Чего ты ищешь?“ спрашивала меня Гизола Прекрасная, через промежутки, как припев.

Разве я был колдуном, искателем родников и сокровищ? Во мне самом были все мои родники и все сокровища.

Я искал свою прихоть. И вот нашел ее
Остановился, прищуривая глаза, чтобы под веками
сдержать свою радость. Я превратился весь в одно
лишь чувство. Весь мозг мой трепетал вместе с моим
обонянием.

Я нагнулся в сырой тени, быстро ощупал пальцами
сырую траву.

Казалось, что и наклоненное лицо мое окрашивается
ультрамарином, и руки мои голубеют.

„Но чего же ты ищешь? чего ищешь?“

Я нашел кустик фиалок.

Лик любви внезапно затуманивается, теряется.

Круг одиночества отделяет мое страдальческое ложе
от всего мира.

Родные голоса кажутся вдруг чуждыми и жесткими.

От всей моей души не осталось ничего, кроме глухой
злости против самого себя, таящейся в моем иссохшем теле.

Тоска заброшенности разливается во мраке.

Вспоминаю того раненого, которого мы нашли в
пустом стойле, покинутом уже шесть дней, среди
ужасного зловония от разлагающихся от гангрены
ног с полуразжеванными соломинками во рту.

И не было при нем никого: одна полуистлевшая
уздечка висела на пустой кормушке.

Горизонты сдвинулись, как четыре плотины, сом-
кнулись, как стена. Город стиснут в них без жизни,
без дыхания, без души.

Дом, наполненный заботами, тихими голосами, тре-
вогами, таинственными звуками, маленькими невиди-
мыми божками, ушел, как будто растаял, сделался

несуществующим. Только четыре стены моей комнаты существуют, а вокруг безбрежная пустота.

Существуют одни лишь четыре колонки моей кровати, которые в темноте представляются мне четырьмя шестью квадратной палатки в пустыне.

Существуют еще кости мои, мой скелет, обтянутый кожей. А в скелете какой-то неожиданный осадок жизни.

Жизнь застаивается, запекается, как кровь, которая уже больше не течет. Невыносимая тягость.

В первое мгновение подавленности мною овладевает искушение стряхнуться, подпрыгнуть, задвигаться, чтобы помешать этой тяжести устремиться целиком в одну точку, надавить на левую сторону груди.

Как будто со стороны сердца, против ребер, образовался и в несколько мгновений созрел один из тех чудовищных нарывов, которые питаются и наливаются годами страданий.

Лежу неподвижно. Слышу тиканье часов, которое то кажется мне червячком, сверлящим в самом ухе, то далеким, как мерцание звезды.

Глаз не горит. Только от времени до времени образуется колыхающееся кольцо, которое плывет и исчезает на западе.

Мой дух поражен той же неподвижностью, какая сковала мои кости. Всякое движение внутренней жизни иссякло. Я совершенно утратил силу передвигать те громадные бесформенные массы лирической субстанции, из которой соткана моя печаль.

Есть во мне отравя, сосредоточенная в одной точке моего существа, как бы назревший нарыв, который не прорывается и не может быть вскрыт ни мною, ни другими, ни вырезан, ни исцелен. *Vide cor meum* ¹⁾

¹⁾ Взгляни в мое сердце.

Отрава, которая сгубила такую великую долю моей жизни, разрушила столько моих богатств, так унизила мои страсти, так ослабила мой порыв, так изуродовала мое творчество, убила столько задатков, осквернила столько страданий, мое первородное, мое унаследованное зло, вот может быть впервые оно накоплено, выделено, сосредоточено во мне.

Я болею им, как смертельной заразой.

Только его в себе чувствую, им одним полон, им одним болен.

Если бы мои руки не были недвижимы, я бы мог ощупать, измерить его, узнать его форму, его плотность, почувствовать его жар.

Мое страдание малодушно и бессильно.

Внезапное чувство ожидания как будто рассеивает оцепенение души и поднимает жизненный тонус. Кто-то должен прийти в темноте, молчаливо.

Вот он подходит, наклоняется, трогает меня, вынимает боль из моего бока, берет ее на себя, как ношу, уносит с собой, удаляется.

Но приходит лишь одна усталость безысходная.

И в первое мгновение дремоты, в раненом глазу сразу загорается страшная жизнь. Не могу открыть век, чтобы спастись от ужасных видений.

Повязка меня давит. Компресс высох и жжет меня. Тяжесть в боку расплывается по всему онемевшему телу.

Прежде чем погрузиться в ужас превращений, я чувствую, как мой рот становится металлическим в замедленном дыхании сна.

И мать царя Лемуэля молвит: „Что, чадо мое, о, чадо утробы моей, чадо моих обетов?“

И мать царя Лемуэля молвит: „Не отдавай твоих сил *тому, что губит царей*“.

К чему я хочу выздороветь?

Может быть, это желание выздороветь неправильно? Кто оценит эту долгую муку? Перед кем будет заслугой это настойчивое терпение, *чтобы вновь обрести то, что я принес в дар?*

Хотя плоть и согласна, дух противится.

Плоть окутана заблуждением, душа окрепла в правде.

То колебание, которое овладело мной в вечер возвращения, прежде чем я, подчинившись приговору врача, слег и дал себя пригвоздить в этом мраке, пронизанном пламенем бреда, было не что иное, как предупреждение, как предчувствие души.

Я оставался на ногах и ясно улыбался.

Глаз потерял? „Я обладаю тем, что принес в дар“.

Таково было настроение, таково было слово, которое соответствовало духу жертвы и того, кто ее приносил.

В соседней комнате что-то читают вслух. Слышу шелест листов, но мало прислушиваюсь к словам.

Голова моя лежит ниже ног, ноги мои стиснуты, локти прижаты к бокам, рот открыт и сух, сердце сжато. Начинаю цепенеть в тяжелой испарине.

Слышу слово „Родина“, и сильная дрожь пробегает по мне.

Вновь слышу слово „Родина“, и та же дрожь пронизывает меня до мозга костей.

Из моего оцепенения, из пота и муки, из тоски моей и отчаяния рождается благо, которого нельзя выразить.

Не называется ли зеницей ока все самое дорогое, что есть у человека? „Ты отдал зеницу правого глаза

той, которую ты любишь, свой зрачек прозорливца, свой светоч поэта!"

Гордость всегда готова воспрянуть, увы!

Мягкая, но строгая рука смиряет ее.

Вокруг кровати собираются те слепые солдаты, которые столпились вокруг моей койки в полевом госпитале, где была моя первая остановка. У кого завязан один глаз, у кого вокруг всей головы широкая повязка с пятнами крови. Кто смотрит на меня здоровым глазом и плачет, кто, не видя, робко дотрагивается до меня. Они мне братья. Никто никогда не был мне так близок, как близки мне они.

Было утро серое и холодное. Грохот орудий сотрясает дневной свет вокруг солнца, подобно ветру, развевающему золу горящих сучьев. Груды блестящих углей под оголенными деревьями на берегу Аузы, черной, как сточный канал на шерстяной фабрике. Ничего больше.

На пороге госпиталя белая повязка, пропитанная кровью, истерзанная плоть выбитых из строя, беспкойное выражение рта у ослепленных, крепкий запах окопов и землянок, ужас сражения во мраке. Ничего больше.

Раненые прошептали мое имя и взволнованные столпились у выхода. Вместо железных шлемов на головах у них были тюрбаны из ваты и марли. Некоторые низко наклонились и старались разглядеть меня из-под повязки. Я улыбался, высоко держа голову, как идя в сражение, говоря: „Смелее, сынки!"

Один, у которого были завязаны оба глаза, назвал меня по имени. Это был солдат с моей родины, из Аbruццо. Запинаясь, спрашивал, что со мной.

Я был усталый и голодный, в полном изнеможении. Прежде чем ввести меня в темную комнату для иссле-

дования, доктор уложил меня на койку, покрытую дырявой простыней.

Я лег навзничь. Лиловатая волна колыхалась в раненом глазу, другой глаз был ослеплен головокружением. Я прикрыл веки.

С порывом отчаяния в груди я услышал, как над госпиталем пролетал боевой аэроплан. Его гул увлекал с собой остаток моих сил. Он говорил мне: „Никогда больше, никогда, никогда!“

Топот и говор дали мне понять, что раненные врываются в комнату. Подошли раненные на один глаз и стали около койки. Подошли раненные на оба глаза и тоже окружили койку. Молчали.

Я слышал их дыхание, их вздохи. Мне были видны те, кто стоял с левой стороны. Я видел, как жалостливо наклонялись их белые повязки, я видел их скорбные губы, их покорные руки.

Я жалел их, страдал им, как они жалели меня. Я был им товарищ. Они мне были родные. У меня не было никаких преимуществ, ни отличия, ни особенности, ни славы, иной, кроме моей смиренной жертвы. Я страдал не за себя, но за то, что не могу больше сражаться, что лишился своих крыльев, своего оружия, своей задачи. Я был выбит из строя, удален из огня, исключен из той кузни, где выковывалась ткань новой жизни.

Какое было у меня лицо? Я касался в эти мгновения последних пределов скорби и сладости.

Никогда ничто в жизни не принесло мне столько зла и столько добра. Каков был вид у меня, терпеливо лежащего на этой простыне, на этой койке, где лежало передо мной столько простых солдат? Я терял сознание.

Тогда один из них, качая обвязанной головой с жалостным изумлением, с простым акцентом своей провинции тихо произнес:—Так вот этот человек!

Никогда не забуду голоса этого солдата. И если бы я знал, где найти его, стал бы разыскивать его повсюду.

Я содрогаюсь в какой-то глубине, более глубокой, чем бездна моих страданий, более мрачной, чем природа моя, чем вся моя скорбь.

Страшное потрясение вырывает меня из меня самого и выбрасывает меня в неведомый ужас крови и духа, в котором я не знаю, возрождаюсь ли, или погибаю.

Эти раздирающие потуги, подобные кровавым мукам рождения — это возмездие матери сыну своих мучений.

Мать моя! Это моя мать, это она вливается в мои кости, ворочается в моем мраке, вновь становится плотью от моей плоти, тяжестью моего креста.

Она была во мне, внутри меня во время борьбы, во время безумия. Я носил ее в себе, как она меня носила, живую в биении пульса, в трепете дыхания.

Она жила в моем мужестве, царила на моих высотах, склонялась со мной над разрушением и пожаром, со мной напрягала свои силы для крика.

Она кричала: „Я, вот я!“ Это был голос самой моей жертвы. Она отдавала себя ранам, шла навстречу гибели и смерти.

Она вместе со мной погрузилась во мрак измощенного моего сна, лежала в оцепенении на твердой земле, нёмела в моей руке, сложенной под головой, коротала со мною ночь.

Я не смотрел на нее, не звал ее. Ее взгляд был моим взглядом, ее имя моим именем.

Не нашлось бы во всем жестоком мире оружия, которое могло бы разрубить соединявшие меня с матерью узы.

Со мною вместе она узнала окопы, узнала землянки и рвы, познала рабство, грязи и опьянение небом жертвенных костров и тот неизреченный час, когда окрыленная душа подобна серафиму, возносимому веянием вечности.

Она говорила: „Я, вот я!“ Она хотела бессмертия для сына, устремленного к свершению своего рока.

„Вот я!“—и из кровавого источника, который бил из ее груди, утоляли свою жажду солдаты.

Ее любовь была так богата, что я не мог узнать, ее ли я создание, или она—мое. Ее пламя было так ярко, что я не мог различить, я ли горю в ней, несовершенный, или, она совершенная, горит во мне.

Ее жертва была так пламенна, что я не знал, мать ли она мне, или родина. И не знал, я ли дарю ей свою возрожденную молодость, или она сквозь мои ресницы вновь глядит своими ясными голубиными глазами.

Зачем ты вдруг захотела, чтобы я на тебя взглянул? Зачем ты хочешь, чтобы сквозь повязки я всматривался в твой зрачок, который так у меня болит?

Почему ты отделяешься от меня, как я оторвался от тебя окровавленный в ту роковую мартовскую ночь, обреченный на скорбный удел человека?

Вывите меня из этих мучений.

Нет больше сил терпеть. Освободите меня от этого ужаса. Я задыхаюсь. Дайте мне света. Откройте окна.

Возьмите меня из этого страшного мрака, в котором я не нахожу покоя.

Остановите хотя бы на один час эту пытку ужасных видений.

Не могу больше выдержать.

Хочется сорвать повязки и вырвать свои глаза.

Вы перевязываете мне лоб, завязываете мои глаза, оставляете меня в темноте.

А я вижу, вижу, непрерывно вижу. И днем, и ночью, вижу всегда.

Вот что происходит.

Доктор впрыскивает мне в роговую оболочку раствор хлористого натра, выпускает мне соленую воду в мой раненый глаз, где темнеет морская волна, увенчанная желтым гребнем.

Прежде чем вновь забинтовать меня, доктор, с бессознательной жестокостью, подает мне свое маленькое круглое зеркальце, при свете голубой лампы.

Вижу слезную железу в опухшем глазу, свое лицо истощенное и измученное, бледный рот со скорбной складкой, новую седину в запущенной бороде, худую шею,—образ унылой немощи, который навсегда запечатлевается на сетчатке.

Доктор накладывает влажную повязку поверх укола, скрывает мрачный образ под докучным бинтом, опускает мою голову на простыню без подушки. Гасит голубую лампу, советует мне быть терпеливым; тихонько выходит.

Остаюсь во мраке, неподвижно, лежа на спине, как души в третьем круге Дантовского ада под огненным дождем. Искры летят из меня, падают на меня обратно, жгут и ранят меня. И не могу стряхнуть с себя ожоги, как делала там в Аду „пляска несчастных рук“ ¹⁾. Мои локти прижаты к бокам. Едва-едва двигаю кистью руки. Поясница ломит.

Но что это такое?

¹⁾ Ад. Песнь XIV. Прим. пер.

Доктор, сняв с меня повязку, только что двигал передо мной во всех направлениях свет, чтобы измерить поле моего зрения.

Теперь это пламя размножается в мучительные языки.

Глаз горит и слезится, и горькие слезы текут мне в рот.

Огненные языки понемногу редуют и гаснут.

Я остаюсь один перед лицом своей немощи.

И начинается превращение.

Скорбь человеческая становится пластичной материей. Какие-то таинственные пальцы непрерывно формуруют ее.

Это мое же лицо, как и в зеркале, при ярком свете, но отягощенное такой дряхлостью, которой никогда не знал ни один смертный. Из какой бездны страданий и греха всплывает оно ко мне? Сколько поколений рабства наложили свои борозды на это чело? Сколько лет труда сморщили эти щеки? Сколько лет усталости заставили поблекнуть эти уста?

Внезапно я вновь молодею, принимаю образ безумный и деспотический. Проходя между острыми зубами, мое дыхание дымится и светится, как будто я отравлен фосфором.

Материя быстро видоизменяется, принимает уродливые формы, будто в целом ряде вогнутых и выпуклых сферических зеркал.

Словно лопаткой сбивается и перемешивается, как мягкая глина.

Вот линии вновь соединяются и создают образ сосредоточенной и изумленной духовности.

Это лицо юноши. Мое лицо в шестнадцать лет.

Все мое отчаяние воспламеняется и искрится, как под тяжелым ударом молота.

Гладкий лоб под густой шапкой темных волос. Линия бровей так чиста, что придает нечто невыразимо девственное большим грустным глазам. Прекрасные полуоткрытые уста выражают тревогу, как бывает, когда сердце исполнено мечтой, которая грозит разорвать его.

Остановись еще на мгновение, о предвестник Зари! Утешь меня!

Слепая сила превращений неудержима.

Окружающий меня мрак сотрясается глухими ударами. Сердце бьется, и стук его болезненно отдается в затылке. Все смещается в теле и в душе. Я уже не чувствую границ своего тела.

Разве детство и старость одно и то же бедствие?

Вижу себя ребенком со сморщенным лицом, вижу себя маленьким, дряхлым чудовищем, повисшим у столетней груди.

И все же я узнаю себя; и все же в неестественном безобразии мелькает какое-то сходство, отпечаток происхождения, знак рода.

Что это за ужас, который растворяет мои кости? Грохот пушек сотрясет дом до основания и глаза в их орбитах.

А может быть, это хрип моей агонии?

Я не могу бежать. У меня нет ресниц, нет век.

Слепой обречен на то, чтоб вечно видеть.

Вы это знаете, знаете. Я никогда не щадил себя. Никогда никого не просил щадить меня.

Но на этот раз я прошу, на этот раз умоляю.

Вот она! Она насыщена мною. Она напоена этой моей печалью, которая никогда не поднималась до моего сердца, потому что было бы слишком тяжело.

А теперь она докатывается до самих глаз туда, куда приливает море человеческих слез.

Она печальна мною, дряхла мною, больна мною.

Она моя мать.

Прощание, более раздирающее душу, чем безмолвное прощание с умирающим, от которого отлетает душа, было мне напутствием в дорогу на войну.

Я не видел ее с момента моего отъезда в добровольную ссылку.

Была неделя марта, между днем моего рождения и днем моего ангела, насыщенная любовью, воспоминаниями, сожалениями и раскаянием.

Я издали уже начал трепетать от образа ее, как будто Тронто был краем ее одежды. Издали уже, в самой зелени я стал ощущать ее, как чувствуется весна, пробуждающаяся в недрах земли.

Каменистый Тронто, с тоненькими струйками голубых вод под мостом из светлых кирпичей, приветствовал меня, как приветствовала она, когда была довольна.

Низкие холмы, желтый известняк, каменистые гряды, все это было ее. Маленькие цветущие деревья были ее. Ее была тишина моря на узком берегу с длинным рядом темных рыбацких лодок, попарно вытасненных на песок. И о ней, наверное, говорили женщины, чинившие сети, так как они улыбались.

Вижу все вновь перед собою.

И бьется мое сердце при этих первых звуках абруцского говора на пути, загроможденном безобразными вагонами, на этой станции, кишачей торговой жизнью, в виду холма, покрытого тощими оливками.

Вижу все вновь перед собой.

Раскрашенная повозка едет вдоль берега, запряженная парой белых волов. Не детством ли моим деревенским она полна, будто душистым сеном?

Животные белеют на зеленой морской лазури, вон как те паруса, надутые южным ветром.

Песок обработан до самой линии прибоя.

Узнаю длинные зеленые полоски бобов и думаю, что они поистине принадлежат к царству животных. В поле тощие деревца клена кажутся искривленными и скрюченными руками, связанными сухой веревкой виноградной лозы. Не оставил ли заступ острого края своего железа в этих глыбах земли, взрывая их? Так блестит разрез.

Речка светла и пенится, как только что надоенное молоко. Почерневшая скирда кажется чистым золотом, там, где солома почата с края. Отчаянно высохшие виноградные лозы, темные и изогнутые, изнывают на ослепительном песке и точно извиваются, как мелкие змейки. Кирпичный завод около глинистого оврага с красной крышей, с дымящей трубой и рабочими, которые возятся на коленях около глины.

Ради тебя, ради тебя, я люблю эту бедность, это прилежание, этот упорный труд. Ради тебя так дорог мне этот край, смиренный и приниженный.

Но внезапно, около гавани Асколи, среди скромных холмов, появляется великая гора. Лазурная, воздушная, снежная, сливающаяся с сиянием облаков, она возносит меня к высотам твоего молчания.

О, последнее мое возвращение ребенком в твои объятия, которыми ты, в постоянной мечте своей, не переставала поддерживать меня.

Все хочу вновь увидеть, все хочу вновь познать.

Ты всюду, как вода и как воздух.

Все через тебя делается добрым, все через тебя делается простым.

Родной край как бы приобщает меня к твоей доброте.

Каждый след труда человека на земле кажется мне освященным: прямота дороги, граница поля, хижина из тростника и глины.

Иногда, у пустынного устья маленькой речки пасется стадо, которое издали блестит, как прибрежные камни, и я смотрю на горы, где, может быть, из уединенного источника пьет другое стадо.

Каменистое ложе, спускающееся с горы, подобно покинутому пути переселений, подобно заброшенному предками кочевому тракту.

И я слышу внутренним слухом, как шествуют давно усопшие пастухи и обширные исчезнувшие стада.

И душу щемит глубокая печаль о том, что я возвращаюсь к тебе не с босыми ногами, не братом странника, идущего поклониться чудотворной святыне по той береговой дорожке, на которой люди и предметы видятся мне в профиль, как на вышивках наших старинных покрывал. И шаг человека, и поступь вола, и форма повозки, и погонщик, ведущий осла, нагруженного мешком муки—все эти образы сводятся в моем сознании к их первоначальной простоте, как будто я сам, ребенком, рисую их куском охры на белой стене.

Ты возвращаешь девственность моим глазам, прежде чем мой взор встретился с твоим взором.

Вот берег становится таким узким, что волны, набегая, кажется, зальют весь край до подножья холмов.

И что-то во мне делается подобным родному берегу.

Все становится послушным и нежным, в душе и в воздухе.

Ты помнишь? Помнишь ли тот стих, который заставил тебя улыбнуться и заплакать?

„Как вода приютилась в ладонь руки“ . . .

Не я ли для тебя всегда вода, которая скопляется в ладони твоей руки?

К тебе всегда притекает вся невинность и чистота моей души.

Вот дом, вот порог. Вот лестница.

Ты стоишь наверху, поддерживаемая моими сестрами. Стены дрожат, как и все мое тело. Колени подкашиваются. Сердце устремляется к тебе и разрывается от твоего счастья.

Зачем же захотел я еще раз унести далеко от тебя свое истерзанное сердце? Зачем поддался увлечению „безумного полета“? Зачем я еще раз покинул очаг твоей верности ради палатки, открытой для всех бурь?

Зачем любовь моя к року победила во мне сыновнюю любовь?

„Даже сладость сыновней любви“...

С божественной легкостью она положила на свои колени мою тяжкую голову, и я вновь превратился в сонного ребенка. Я молчал, молчала и она, а вокруг нас тихо шептали родные предметы. Мне было так хорошо и так больно. И никогда в мире ничто другое не давало мне столько блага и столько боли. И нагнувшись, я видел на пороге балкона ямку в потертом камне, которая была дорога мне уже в детстве, когда во время ливней она наполнялась дождевой водой, и я с волнением ждал, чтоб прилетели воробьи пить из нее, как из безопасной чашечки.

Она была одна, и это было мне больно. Пальцы моей матери от времени до времени ласкали мне щеку. И я думал, что она это делает, чтобы узнать, не текут

ли по ней слезы. И она, может быть, не знала, что этим жестом она их вызывала и извлекала из глубины.

Ах, зачем я оторвался, вместо того, чтобы отдаться ей?

Сколько раз в этом милом мне домике раздавался страшный для меня крик! Сколько раз в этом тихом старом доме, в знакомых стенах я слышал, как над моей тревогой властно звучал эсхилловский голос, живой, как мой собственный: „Иду. Кто зовет меня?“

Одиссей без весел и без крыльев, но с душою, томимой тоской тысячи душ, встал и направился в изгнание, не в скорбном отречении, но в мощном порыве.

Наверху лестницы происходило новое прощание.

Если бы материнское горе могло действительно окаменеть, то на вершине этой бедной лестницы сияло бы, на восхищение людям, самое прекрасное из всех священных изваяний:

„Иду. Кто зовет меня?“

Пять лет изгнания на дальнем Западе, на сосновом хребте океанской дюны; длинный ряд трудов и дней, долгое терпение, долгое ожидание.

Подобно тому, как любовь моей матери никогда не умела разглядеть на моем лице следов времени и прожитой жизни, так и моя любовь сохраняла от нее образ духовный и охраняющий, черты которого утончались, но не исчезали.

Даже болезнь представлялась мне лишь мистическим средством одухотворения, аскетическим путем к святости. И я не угадывал издали того, что из сострадания скрывалось от меня.

Я никогда не боялся страданий. Моя мать сама подавала мне пример такой твердости с самых ранних

лет. И все же, готовясь к прощанию с ней, уходя на войну, сердце не переставало сжиматься и содрогаться под гнетом непереносимой боли.

О, слишком долгий путь, которого не могла ускорить сердечная тоска, путь через опустошенный край мимо разрушенного Фучино, через Марсику, покрытую развалинами и жатвами, наполненную вдовами и сиротами, трауром бледности и страданием контуженных членов!

В жертвенном порыве я уже заключил договор со смертью, как матрос, как солдат, как безымянный летчик. На заре 25 марта я сказал собравшимся товарищам:—Никто из вас, наверное, не знал, что он так любит эту Великую Мать. Но кто из нас сумеет первый за нее умереть? Есть среди нас уже отмеченный, избранный? Если бы это был я! Пусть не обманет меня предзнаменование, пусть не обманет меня предчувствие.

Я говорил:—У нас нет отныне иной ценности, кроме нашей крови, которую мы хотим пролить. Мы можем быть измерены только меркой пространства завоеванной земли.

Вот заря, друзья, вот утренняя звезда, и скоро наступит рассвет. Обнимем друг друга и простимся. То, что мы сделали, сделано. Теперь нам следует расстаться, чтобы потом встретиться вновь. Наш бог позволит нам встретиться живыми или мертвыми в обители светлой.

Но надлежало проститься с матерью земной, прежде чем отдаться матери бессмертной.

Я представлял себе прощание маленьких солдат, шестнадцатилетних добровольцев, пятидесятилетних ветеранов, здесь, в этом скорбном краю, представлял себе матерей, стоящих на пороге или в конце улицы, прямых и строгих в складках темных одежд.

И страх не переставал сжимать мне горло. И движение казалось мне не достаточно быстрым, но каждая остановка была почти малодушным облегчением. И когда я вступал во мрак гор, я закрывал глаза, как бы для того, чтобы не выходить из него больше.

Кисть руки надломилась. Рука упала, как высохшая. Хочу пить. Изнываю от жажды. Начиная от пальцев ног, таких далеких, и до горла из металла, которое никогда не смачивается, все мое тело жаждет. Но напрасно прошу я глотка воды.

Слезы из глаз и пот со лба стекают мне на губы. Я слизываю соленые капли, и мне кажется, что я впитываю их ртом моей матери, этим обезображенным ртом, который тяготит меня, который страждет во мне, искалеченном.

Скажите, неужели есть горшая агония?

Она тяжелее, чем та, другая. Боль, возвращаясь, как бы ожесточается. Она оборачивается, чтобы еще глубже уязвить меня.

В тот раз минутами я был способен вырвать свои обожженные глаза. Склонял лицо до земли. Я прикасался лбом к бедным ногам ее, обмотанным шерстью. Сдерживал свое сердце между судорожно сжатыми ребрами. Мне казалось, что я держу его как клещами, подавляю его биение и вижимаю из него капельки крови.

А теперь не могу не видеть, не могу остановить непрерывность этой пытки.

Этот образ не неподвижен. Он движется, меняется. Она печальна и становится еще печальнее. Она измучена и становится еще более измученной. Она открывает рот и не может произнести человеческого слова. Она может только пережевывать душу, бормотать о своей безутешности.

И мне кажется, что бич палача ничто в сравнении с тем, что я испытываю при каждом из этих движений. Но что же сделал я? Какую вину я искупаю?

Стены Пескары, кирпичная арка, облупившаяся церковь, городская площадь с ее тощими деревьями, угол моего заброшенного дома.

Это маленькая родина. Она для меня так же чувствительна, как моя собственная кожа. Она леденеет во мне, во мне согревается. Все старое трогает меня, новое меня отталкивает. Моя тоска несет в себе все ее поколения, все ее века.

Дверь моего дома как будто стала меньше. В широком проходе сыро и пустынно, как в крипте без святыни. Меня шатает на первой же ступени лестницы. Молчание пугает меня. Страшусь увидеть там наверху сестер с покрытыми вуалью головами. Паутина дрожит на решетке, которая выходит во двор. Слышу кудахтанье. Слышу, как скрипит блок в колодце. Прошрое устремляется на меня с грохотом лавины, оно подавляет, топчет меня. Болезненно ощущаю свой дом, до самой крыши, до самой верхушки, как будто его балки сделаны из моих костей, как будто я выбелил его своей бледностью.

Наверху лестницы нет никого. Я понимаю. Это безмолвие сострадания и стыдливости. Несчастье ждет на втором пороге, оно одно ведет меня за руку.

Первая комната пуста. Былая радость не оставила в ней ничего, кроме ножей, отточенных, чтобы терзать меня.

Вторая комната пуста. Там книги моего детства и моей молодости. Там стойка для нот моего брата—эмигранта. Там портрет моего отца мальчиком со щегленком, сидящим на вытянутом указательном пальце.

Столько лет прожил я в полном забвении всех этих вещей; и они так остро могут опять ожить во мне?

В третьей комнате стоит моя белая постель, стоит старый, раскрашенный шкаф, с потускневшими и запятнанными стеклами, стоит ореховая подставка для молитвы, на которую я становился в сердцах и молчал в диком упрямстве, чтобы не признаться, что чувствовал себя неважно.

Мои колени подкашиваются, а стены охватывают меня, прижимают к себе, вертят меня, как колесо пытки.

В четвертой комнате вижу младенца Христа из воска под стеклянной крышкой; вижу мадонну семи мечей; вижу изображения святых и реликвии, собранные сестрой моего отца, умершей как святая; здесь мои первые молитвы, столь сладостные утром, еще более сладостные вечером; чтобы вновь войти в мое сердце, они рассекают мне грудь, точно они превратились в оружие неумолимого ангела.

Три ступени ведут в пятую комнату, как три ступени в алтарь.

Она полна мрака, под арками свода звуки гулко отдаются. Мое сердце ударяет о стены слепыми ударами судьбы. Здесь большая кровать, где я был зачат и рожден. Мне чудится, что я слышу в самом себе крики моей матери, которые при моем рождении не проникли в мои еще замкнутые уши. Неуловимый запах болезни душит меня. Чья-то рука прикасается ко мне и заставляет меня вздрогнуть. Холодная рука хватается меня и влечет в шестую комнату.

Это шестая остановка крестного пути: плат Вероники.

Тихий голос произносит: „Она здесь“. Я холодею.

Тогда поднимаются с колен обе руки. Жизнь останавливается, теряет свои краски, превращается в ничто.

Есть ли что на свете, могущее причинить мне большую боль, чем этот угасший взор?

Это рот, в котором нет больше красоты, нет больше мягкости, в котором нет больше человеческого образа, человеческого звука.

Обе ладони падают на мою голову, тяжелые, как если бы были бескровны, безжизненны. Уста хотят произнести мое имя, но издают лишь слабое мычание.

Во мне иссякло все, даже ужас. Нет больше чувств.

Познаю смерть, которой может быть ни один сын женщины не сможет никогда узнать.

12 марта 1916 г. И как ты можешь теперь, как можешь заставлять меня снова переживать эту смерть?

Сегодня день моего рождения.

Говорю доктору, который расспрашивает меня:

— Представьте себе, что живая бабочка заключена в моей щеке и что ее коричневые крылья выступают за нижние веки и непрерывно трепещут на краю глаза.

Он не улыбается, хмурится.

Я улыбаюсь и прибавляю:— Не надо убивать, нужно освободить ее.

Говорю доктору:— Представьте себе, что у меня в глазу маленький лист папортника, одного из тех сухих папортников, которые кажутся вырезанными на пластинке меди.

Он отвечает:— Знаете ли вы, что, когда разрезается наискось стебель папортника, на нем видно изображение двуглавого орла?

Сирнетта говорит:— Глицинии расцвели уже на всех окнах.

Я узнаю его. Этот голос той, достойной удивления служанки, преданного существа, рожденной на нашей родовой земле, взрощенной в нашем доме, которую зовут Мария.

„Она здесь“.

Это моя мать?

Бедное, сгорбленное существо, бесформенный предмет, существо немощное и скорбное, приниженное, умаленное, растерянное.

Это моя мать?

Я падаю к ее ногам, ползу по полу. Во мне уже нет ничего, кроме ужаса. Судорожно поднимаю голову, как будто мне сломали шейный позвонок. Поднимаю голову и смотрю.

Смотрю на это лицо.

Лучше было бы, если бы судьба раньше ослепила меня.

Не таков ли был лик Спасителя, когда он принял на себя все грехи мира?

Безобразный и дивный, со взором, который не видит меня, не узнает меня, затуманенный и пристальный, в котором любовь выражается лишь безымянной скорбью, скорбью до самой смерти, и за пределами смерти.

Моя мать!

Униженное, бедное существо, разбитое, обезображенное; и какое-то грозное величие, в которое я вступаю, как в обитель святую и грозную, как в самую жертву мою.

Я как бы пленник ее, пораженный ужасом. Заточенная в ней, моя душа пристально смотрит на меня из глубины этих неведомых мне зрачков.

И смиренная служанка произносит мое имя, повторяет мое имя в это ухо, которое склоняется все ниже.

Потом рассказывает мне, как один раз вечером, в полнолуние, когда она училась в Поджо Имперiale, ее, вместе с несколькими подругами, водили в обсерваторию Арчетри.

В ее воспоминании сохранились огромные террасы, белые от лунного света, террасы, расположенные одна над другой, возносящиеся к звездам, как в замке какого-то астролога из рыцарской поэмы.

Здесь она услышала самый красивый голос в мире.

Это был голос скромного ассистента, который у телескопа рассказывал о горах и долинах на луне, о кольцах Сатурна, о красном сиянии Марса.

Все девушки повисли на его устах, охваченные чарами лунной ночи.

Чистый голос звучал, как отзвук небесных гармоний.

И девственный венок трепетал, как живое созвездие вокруг молодого звездочета.

У моей дочери черные восточные глаза, похожие на те сарацинские очи, которые красовались в Сицилии во времена швабского султана.

Иногда, когда она неожиданно наклоняется ко мне, мне кажется, что они сидят между висками, как глаза арабских коней, глядящих с восточных миниатюр.

Лицо белое или скорей оттенка цветущего персика, волосы курчавые и черные, с трудом укладываемые в косы.

Иногда, когда она сидит на низкой подушке и режет для меня полоски бумаги, которые слегка шуршат, как сухие пальмовые ветки, мне приходит на мысль: „Цветок Сории“.

Она нарвала оливковых веток в Гефсиманском саду и сплетала их на подобие того, как это делается в нашей местности для украшения в Вербное Воскресение.

В печальном моем глазу есть что-то вроде кристалла, светлого аметиста, который из минерала иногда превращается в растение и походит на закрытые цветы глициний, подобные легким колышущимся чешуйкам.

У Сиренетты успокаивающий, убаюкивающий голос. Когда она говорит, мое сердце затихает, биение пульса замедляется.

Ее голос напоминает мне голос моей матери в молодости, когда она по вечерам усыпляла меня сказкой в моей маленькой детской кроватке.

Она читает поэтов, и река сновидений переносит меня под сень лавров.

Перестает она читать—и снова меня гложет боль.

У нее тосканский выговор, сиенской чистоты.

Так говорила святая Екатерина в детстве, возделывая свой садик.

Пчелка оставила у нее на устах священный мед.

Из ее уст сонеты „Новой жизни“ волнуют меня так же глубоко, как в шестнадцать лет, когда я их читал на берегу заросшего травой Аффрико в пасхальное время.

И мне, погруженному в горькую печаль, „как те, что не могут двинуться“, так же явились некие лица женщин с развевающимися волосами, которые мне говорили: „Твоя молодость умерла!“

И так же, после этих женщин, явились мне некие лица, разнообразные и на вид ужасные, которые говорили мне: „Ты умер“.

Обладая само красивым голосом, милое создание чутко к красивым голосам.

Она мне говорит, чей голос среди наших друзей она больше всего любит. Говорит о голосах, как о вкусе воды из различных источников.

Ее маленькие, дикие глазки раскрываются под моей повязкой.

Она влетает в Кортэ Контарина. Крик, еще крик.

Прилетела от Рива-дельи-Скьявони.

Пронеслась над Кьоджей.

Была в Сан Франческо дель Дезерто.

Кружилась над восточной колокольной на Армянском острове.

Села на мгновение в пасть льва на колонне Пьяцетты, намереваясь свить в ней свое новое гнездо.

Влетает в Кортэ Контарина. Пронзительный крик, белый всплеск.

Спускается к высохшим колодцам, заключенным в решетки.

Потом задевает крылом балконы, рядами расположенные один над другим, с быстротой руки музыканта-виртуоза, легким арпеджо пробегающего по струнам резной арфы.

Сверкает, порхая, вокруг верхних перил.

Вижу, как она исчезает, слышу ее пронзительный крик над сводами лоджи.

Вижу затем, как она скрывается стрелой, перелетает через крышу, рассекает лазурь.

Слышу, как она кричит от боли, как кричит она солнцу о моей боли.

По мере того, как милосердые руки постепенно обмывают и натирают ароматным составом мое тело, подобно телу мертвеца, мной овладевает легкая дремота.

Все призраки бессонной ночи рассеялись при утреннем свете.

Моему левому глазу разрешено увидеть немного света.

Она плела из них цыновку, длиною в мой рост, чтобы я мог лежать на ней навзничь.

— Прилетели ласточки,—говорит Сиренетта, входя в темноту и сдерживая голос, который кажется отражением от крика.

Вспоминаю, не знаю почему, свой былой голос, когда ребенком я, бывало, поднимал железную крышку колодца и, перегнувшись через каменный край, потертый веревкой, бросал крик в глубину, где виднелось мое лицо, отраженное в воде.

В моих глазах стоит этот заглушенный серебристый звук, в котором дрожала легкость мелкого, сквозного папортника.

Осторожно я закрывал крышку, чтобы стук железа не заглушил моего потаенного крика.

И мне казалось, что я заключил в свежем и темном колодце что-то живое, как птицу, что продолжает порхать и петь, ударяясь крыльями о влажный кирпич.

Говорит Сиренетта, вспоминая, как я водил ее раз вечером показать ей лестницу Боволо и в узком переулке прежде, чем выйти на Кorte Контарина, прикрыл прекрасные ее глаза обеими руками, чтобы усилить очарование.

Сиренетта говорит:—Как ты думаешь, нет ли на лестнице Боволо гнездышка?

Хочу пойти посмотреть и узнать, не гнездятся ли там ласточки, как бы сделала я, если бы была одной из них.

О дитя, освободи меня отсюда и унеси с собой!

Я прикреплен гвоздями, двумя в руках, двумя в ногах.

Лежу молча. Но какой-то стремительный инстинкт моей усталой плоти уподобляет меня быстрой ласточке.

Угадываю, что уже за полдень. На моем немощем теле осталась как бы позолота от сна, в лучах света.

Зову. Уже три часа дня. Я долго спал.

Сиделка улыбается и говорит, что пришли музыканты.

Слышу из соседней комнаты, как настраивают виолончель и скрипку.

Сиренетта появляется на пороге. На ней полосатое платье; ее прекрасная темная голова выступает из большого белого воротника, покачиваясь на голой шейке с той грацией, которая присуща лишь птицам, и потому кажется подвижной инстинктом пения.

Это ангел, сошедший с флорентийского барельефа.

Она предшествует музыке и возвещает ее.

Первые звуки пятого трио фламандца Бетховена трогают мое сердце подлинно, вещественно, как палочки, ударяющие в тимпаны на живом мраморе Лука делла Роббиа.

Это—трио, называемое „трио духов“.

Я слушаю его как будто после смерти.

Музыкантов не видно. Они там. Маленькая закрытая комната—точно резонатор.

Скрипка, виолончель, клавикорды—это три голоса из священной драмы, из старинной мистерии.

Я опустил повязку и на здоровый глаз.

Когда, после паузы, инструменты приступают к Largo, я вижу, как желтая полоса вливается в лиловое поле.

Потом вижу лиловый покров, обрамленный желтой каймой, из-под которой выступает очертание распятого.

Изгиб измученных колен приподнимает покрывало посередине, а когда скрипка повторяет тему, середина покрывала становится пурпурной.

И всякий раз я ощущаю терзание.

Ставни прикрыты так, чтобы не входило солнце, но там внизу старинный розоватый штоф на стене отливает золотом.

Воспринимаю свет на оголенное веко вместе с теплотой, которая исходит от него, как ласка. Чувствую, как трутся одно о другое мои исхудалые колени. Чувствую их гладкими, как у надгробных изваяний.

Сон, который весеннее равноденствие приносит мне, подобен сну Иларии на гробнице в Лукке.

Этот свет похож на тот, который сквозь расписные стекла тосканского собора освещает простертую фигуру.

Это музыкальное состояние усталости привлекает к моим связанным ногам любовь самого красивого из моих молодых борзых псов.

Медленно, медленно погружаюсь в сон и знаю, что мог бы и не проснуться.

Милосердые руки покрывают меня простыней, которая дает впечатление белизны моему слепому глазу.

Я избавлен от ночи.

Печальная душа словно стоит на пороге очищения, как сказали бы мистики.

Мой сон уже не пылает ужасными видениями, в нем царит тихий и ровный свет!

Сиделка сказала:—Фасад дома уже весь оделся зеленью, как Орнелла.

Стена рассыпается без пыли, и маленькие новые листочки дрожат почти у моего лица. Мое дыхание их шевелит.

Сколько я проспал? Чувствую под повязкой скопившиеся слезы в больном глазу. Одна слеза докатилась до разреза губ.

Той же ли солью горчат те слезы, что точит душа, и те, что вытекают из воспаленных век?

Коснитесь мелодией дна моей раны, чтобы вызвать в ней те неизреченные краски, которые появляются не иначе, как в сияющем спектре звездных лучей.

Но вот я будто нахожусь в первоначальной стадии разложения. Я полон веществ, которые распадаются, и соков, которые бродят. Слышу в себе то переливание, которое я уже слышал глубокой ночью, во время бдения при покойнике среди погребальных венков.

И между тем я живу необычайной жизнью. Мой дух—кристалл, в котором сосредоточены все тайны. Могучий лирический поток мироздания проходит через него, от корней вселенной восходит к моему смертному челу.

Ныне я созерцаю смерть, облеченную в какое-то небесное целомудрие, такой, какой она предстала мне там, в стране готики, на могильных плитах тринадцатого века.

Глаза открыты, как венчики цветов в ранний утренний час, и сложенные руки как будто уже причастны вечной жизни.

Думаю о творчестве того бога, который в последний день преобразит лица своих избранников на подобие собственной, сокровенной красоты.

И с моего закинутого лица следы, оставленные временем и жизнью, изгладятся внезапно.

Обрету вновь свою молодость в мраморе гробницы, как усопшие на могильных камнях в Элладе.

Высеченный во весь рост, я буду держать в поводу могучего крылатого коня, который не будет ни Гиппогрифом, ни Пегасом.

Смерть представляется мне не иначе, как образом моего совершенства.

Каждый звук проталкивает из жилы в жилу, вплоть до самого сердца, горький осадок чаши жизни, то, чего я не вкусил еще, о чем молил, чтобы миновало мои уста.

Каждый звук все глубже продвигает его, но сердце не открывается, чтобы принять его, но корчится и отворачивается.

Вот оно на краю, уже близко. Сердце останавливается, затем внезапно захватывается, насыщается, переполняется.

Вижу тень моей дочери, наклоняющейся над моим лицом.

Ее мелкие пальцы прикасаются к моей щеке под повязкой и делаются мокрыми.

Поверх остывших и налипших слез из потерянного глаза хлынул поток горячих и текучих слез.

Жизнь души пропитывает повязки.

Я не ошибся. Я уверен, что влага хлынула из ослепшего глаза, прежде чем из другого.

Теперь оба глаза зажили одной и той же дивной жизнью. Стали двумя живыми источниками.

Я уже не знаю, где мое страдание. Мое страдание — это благо, которое себя не сознает. Слезы струятся. Мое дитя омочило в них свои пальцы и не решается осушить их.

Чувствую ее голову около подушки.

И мое дитя, дитя моей плоти, мне у порога старости говорит материнское слово, слово ласки, которое матери говорят своим детям!

Чувствую, как будто этими словами она берет меня к себе на колени, как древняя Pietà, и поддерживает мои раны.

Опьяняйте меня музыкой.

Заставьте меня еще плакать слезами души.

Опытность действует на меня лирически. Моя поэзия вдохновляется моим мужеством и не только в течение войны, но—если вспомню великие часы моей истекшей жизни—и среди мира, в былое время, во времена священных ожиданий, когда я выковывал свои крылья и свое оружие.

Я никогда не был так полон музыкой, как в перерывах боев.

Вспоминаю возвращение с воздушного набега на Канал, с Эрманно Бельтрамо, полет по небу Горицы, под куполом двухцветных взрывов, вынужденный спуск с трех на две с половиной тысячи метров, опьяняющий, как подъем, насмешливые взгляды на неприятеля, не меняющего прицела, пренебрежение к боли в правой полузамерзшей руке, музыкальный порыв в контрасте с ослабевшим звуком мотора, безумную жажду песни.

— Лирическое воспламенение, остывшие радиаторы, — сказал я, прыгнув с лодочки на траву в Кампоформидо.

Я был голоден.

27 декабря, после смерти Джузеппе Миральи, меня посетил Джакомо Бони.

Получив известие в пути, он поспешил приехать, не останавливаясь в Градо, где как раз должен был встретиться с Беппино, если бы мы вернулись из экспедиции в Зару, чтобы сделать с высоты снимок местности, подвергавшейся в былые времена варварским набегам.

Вижу его сидящим в кресле около горящего камина, где обычно сидел погибший друг. Вижу его с его мягким и в то же время суровым лицом, с ярким румянцем и с сединой, как на портретах некоторых про-

Она сохранит в вечности все элементы, которые жизнь смешивает и претворяет во мне своей непрерывной алхимией.

Какой „гимн без лиры“ будет сопутствовать моему переходу?

Дни проходят, часы летят один за другим, и каждый день без рассвета, и каждый час без перемены вновь застает меня пригвожденным.

Я не хочу ждать выздоровления. Достаточно того, чтобы закрылись и зарубцевались мои раны. Хочу опять встать на ноги, хочу воспрянуть.

Мои товарищи зовут меня, мои соратники ожидают меня. Там, внизу, на боевой линии, наверху, в воздушных битвах, каждый день кажется, что высшая точка героизма уже достигнута, а на завтра безвестный герой еще превосходит ее.

Я встану не иначе, как с волей превзойти их.

Чувствую, что когда встану на ноги, буду сражаться лучше.

К каким ухищрениям, к какой изворотливости, к каким хитростям животного я буду прибегать, чтобы восполнить недостаток зрения! Если бог мне поможет, у меня враг всегда будет слева или спереди.

Как мой дикий Малатестино, я буду говорить:

„Я вижу и одним.“

Рвение будет прежнее, но смелость будет умудрена опытом, обострена терпением.

Нет ныне меры ни в чем. Храбрости человека нет меры. Героизму нет предела.

На вершине лирической мощи стоит поэт-герой.

Пиндар порвал свои струны, разбил свою лиру, потому что знал, сколь прекраснее воевать и дерзать.

Он бросил руль и скрестил руки. И в то время, как Альбатрос, предоставленный самому себе, парил в тихом воздухе, он запел, импровизируя слова и мелодию своей песни. И только тогда понял он опьянение святого Франциска в „Хвале Созданий“. Но не помнил он после ни тех слов, ни той мелодии.

„О жаворонок, для твоих трелей мало целого дня“.

Слова восточного поэта звучат в моем сердце, как раздирающая мелодия. И я думаю о неведомом гимне моего погибшего друга.

Не знаю, жажду ли я больше воды, или музыки, или свободы.

Чувствую солнце за ставнями. Чувствую над каналом томительную мартовскую духоту. Чувствую, что час отлива.

Весна проникает в меня, как новый яд. Спину ломит; погруженный в дремоту, я изредка вздрагиваю и трепещу.

Прислушиваюсь.

Плеск воды о берег от проходящего мимо парохода.

Глухие удары волны о камни, покрытые тиной.

Хриплые крики чаек, взрывы их клохтанья, их крикливые драки, плавные паузы.

Стук моторной лодки.

Глупое щелканье дрозда.

Тоскливое жужжание мухи, которая то взлетает, то садится.

Тиканье маятника, которое наполняет все минуты тишины.

Капанье воды в ванне.

Жалобный скрип весла в уключине.

Человеческие голоса в переулке.

Грабли по камушкам садовой дорожки.

кураторов у Тинторетто. Вижу его клок непокорных волос, нависший надо лбом, несущим на себе отпечаток мудрости и вечного презрения.

Он возвращался с Альп, куда поднимался, чтобы раздать солдатам белые меховые одежды, обувь, подобную той, которую носили охотники на вепря во времена Горация, когда они принуждены были проводить ночи на снегу.

Он рассказывал мне, как солдаты Альпийских полков, с отмороженными ногами, делали усилия, чтобы встать, когда он проходил, и улыбались. О, благородство итальянской души!

За один день хирург ампутировал ступни у двухсот пятидесяти человек.

Он рассказывал, что на Карсо было еще хуже. Окопы были полны воды, и солдаты стояли по колено в воде, смешанной с грязью, день за днем. Обувь их была самого плохого качества, обувь картонная, доставленная теми обманщиками, которые наслаждались всякими благами, тогда как их следовало расстрелять всех до одного, или же на три дня поставить в эту смертоносную грязь окопов в той же самой их обуви на ногах. Трех дней—говорил он—достаточно, чтобы умирить человека—даже висельника.

И вдруг, оторвавшись от этих ужасных и отвратительных впечатлений, он рассказал мне, как в прошлом сентябре он, в разговоре с Джузеппе Миральей, цитировал обращение восточного поэта к жаворонку:

„О жаворонок, для твоих трелей мало целого дня“.

Тогда пилот признался ему, не без робости, что, отправившись однажды по направлению к Поле перед восходом солнца и достигнув середины моря, он увидел, как из туманной дали поднимался раскаленный диск и как ликовали воды „при этом первом ударе кимвала“.

Добавляет еще:—Но есть еще луковицы, которые начинают распускаться. Их много. Они будут еще красивее. Я видела одну, из которой пробивается цветок махровый, лиловый, такой темный, что кажется почти черным. А пчелки жужжат. Они летели за мной, только что. Почему махровые гиацинты пахнут сильнее?

Пустяк меня волнует и выводит из себя.

Иногда кажется, что все отношения и все связи прерываются в душе, не оставляя в ней ни малейшего следа. Становлюсь материей, которая не управляется устойчивым законом, которая подвержена внезапным превращениям, то ослабляющим, то возбуждающим тело, как бы пресуществленное. Чувствую, как в сфере глаза обращаются силы самые разнообразные и враждующие. Весенние токи проникают в меня, как неестественно ускоренное чередование морских приливов, несущих с собой отбросы и сокровища.

Сиделка подходит. От нее пахнет влажной зеленью.

Спрашиваю, не осталось ли у нее на пальцах липкого сока гиацинтов.

— О, нет,—отвечает она голосом, быстрым как внезапно выступивший румянец.

И легкой рукой разбинтовывает меня и меняет высохший компресс.

Затем удаляется. Затворяет дверь. Слышу, как она спускается по лестнице. Непонятная тоска поднимается во мне, понемногу она расплывается и приливает к глазу, в котором отдается невыносимое биение пульса в затылке.

Где же сломанные и подобранные гиацинты?

Комната наполняется каким-то одуряющим запахом. Тоска разгорается, как безумие.

Плач безутешного ребенка.

Неясный говор женщины.

Другой женский голос, который спрашивает: — В котором часу? в котором часу?

Иногда звуки, отрывки их и неровные перерывы между ними сливаются в одну общую гармонию, которая несет в себе мою печаль и что-то еще более печальное, чем моя печаль.

Иногда же мое внимание раз'единяет их, разбивает и отличает один от другого.

И поочередно они заставляют меня страдать.

Вот это непрерывное капанье в ванне, это капанье жуткой пещеры! Оно становится невыносимым. Оно долбит меня, сверлит, пронизывает.

Зову сиделку. Жалуюсь.

Она долго пытается крепко завинтить кран, но это ей не удается. Капанье упорно продолжается, мне на муку.

Женщина вздыхает и говорит:—Невозможно.

Берет кусок ваты и затыкает отверстие крана.

Думает, что уgomонила его.

Передышка дает мне большое облегчение. Так внимательно прислушиваюсь к тишине в ванне, что уже не слышу других звуков.

Увы, капанье опять начинается! Вода просочилась через вату, как просачивается через нее мучительное выделение моего забинтованного глаза.

Сегодня демон погасил огни, но изобрел новую пытку.

Сиделка входит и говорит:—Все гиацинты погибли от ливня, они все прибиты к земле.—Я огорчен. Она прибавляет:—Подбирая самые красивые, я перепачкала себе пальцы. Из сломанных стеблей течет жидкость, которая липнет к рукам.

Думаю о рыбаках Пескары, которые в красивых раскрашенных лодках уплывают до рассвета под северо-западным ветром, вдыхая соленую влагу.

Раздается отчаянный крик ласточки на фоне мрачной гармонии пушек и колоколов.

Близится вечер.

Мой ночной палач за дверями.

Как может мартовский дождь иметь такой серебристый звук, такой сверкающий звон?

Развяжите мне ноги.

Как мог мартовский дождь похитить духов ликования у спящей вакханки?

Развяжите мне ноги.

За волосы, за длинные, длинные волосы я ухвачу мартовский дождь—танцовщицу, ударяющую в кимвалы.

Вот входит очарование моей юности, не касаясь пола, легко, приподнимая радугу.

Это не магия ли моя?

Так это правда, что болезнь имеет магическую сущность?

Все становится настоящим. И прошлое, и будущее.

Это моя магия. В страдании и во мраке, вместо того чтобы стареться, я все молодею.

Эхо древних и грядущих времен.

Глаз—это та магическая точка, в которой сливаются души и тела, времена и вечность.

Что должен я закончить?

Что должен я начать?

Я открываю в вещах новое физическое свойство. Во всем, к чему прикасаюсь, во всем, что слышу, ощущаю какую-то изумительную новизну.

Какое название дам я созвездиям, что мерцают в далях моего страдания?

Из глазного яблока, с внезапной острой болью, прорывается лиловый гиацинт.

Стискиваю зубы. Чувствую, как корешки обвивают мне мозг.

Отчетливо различаю сухую кожицу, мясистые чешуйки.

Стебель удлиняется, цветок наливается, разветвляется, тяжелеет. Он темный, почти черный. Я вижу его.

Кто обломал мне его?

Пугаюсь собственного безумного крика.

Клейкий сок залепляет компресс, течет вниз по щеке.

Черный гиацинт снова пускает росток с еще более острой болью. Возрождается, ломается и залепляет меня.

Я кричу.

Вновь вырастает, и вновь ломается.

Сегодня у меня уже нет в глазу темного гиацинта. Сегодня в глазу у меня какой-то волосатый цветок, розовато-желтый, похожий на ухо маленького щенка.

В глазу у меня раскаленная солнцем глина, которая упивается проливным дождем. В глазу у меня ослепительная желтая глина пустынного хребта Версилии.

Чувствую томление жажды под нависшей тучей.

Вот, у меня в глазу этрусский бронзовый мальчик, который касается земли правой рукой.

Он темно-красного цвета, как будто только что вышел из плавильной печи, еще раскаленный.

Не разгибается никогда.

Слеза из воспаленного глаза течет до разреза губ. Горечь смешивается с металлическим вкусом во рту.

волосами, в стиле святых монахов. Фра Анджелико. Возлежавшая на низких подушках хозяйка дома казалась фигурой из воска с эмалевыми глазами; жизнь проявляла она лишь мелким движением ноги с тонкой щиколоткой, похожим на удары хвоста змейки в порыве любви или гнева.

Это было одно из тех причудливых мгновений, которые создаются искусственно безумием, фантазией и тоской, как тремя ведьмами, ворожащими вокруг опасного напитка.

Но среди всей этой фальши и расслабленности были две простые, стихийные силы: дым, забиваемый ветром, и Иснайят-Хан, индийский певец.

Дым от горящих углей убивал коварные запахи. Раскрывшиеся уста Иснайята заставили умолкнуть филинов и сов.

Единорог напрасно искал девственного лона, чтобы положить на него свою гордую голову и задремать в сладостном смирении. Но казалось, что он способствует своей сказочной таинственностью полноте безмолвия.

Певец сидел в совершенном покое, как будто этот дым исходил от костров родной реки и не мог повредить его голосу. На нем была туника розовато-желтого цвета и большое янтарное ожерелье. Его темные руки покоились на коленях. Короткая черная борода завершала овал бронзового лица. Глазной белок был белее скорлупы голубинового яйца. И он все время пел с открытым ртом, модулируя ноты в горле.

Он знал больше пятисот ладов. Это был хрупкий голосок с узкой грудью, и его песнь, казалось, возникала из глубины храма, восходила из недр камня, из недр подземного пространства; она сливалась в себе все чаяния народа, сосредоточивала в себе подземную работу всех корней.

Слово, которое я пишу во мраке, теряет букву и смысл. Становится музыкой.

„О жаворонок, для твоих трелей мало целого дня“.

В мечтах переживаю вновь утренний гимн моего погибшего друга. Жажда песни теснит мое быстрое сердце.

Сад наполнен звонкими пчелами. Когда напрягаю слух, мне кажется, что я слышу жужжание.

Мне приходит на память, как бы рисунок мелодии, очаровательное воспоминание „кавказской Дианы“.

У нее было огромное имение. Около пруда, как изумрудами усеянного дикими утками, был большой плодовый сад, чудный сад из одних вишневых деревьев.

Его сторожил бородатый старик, с бородой, пышной, как у Карла Великого. Этот старик один ухаживал за ульями. Послушные пчелки садились на его белую бороду, и борода превращалась в длинный золотой рой. И он, прислонившись к стволу любимой вишни, стоял, не шелохнувшись. Сдерживал дыхание. Прикрыв глаза, тихонько напевал колыбельную песнь

Мне вспоминается другая песнь.

Это было в доме Ильзы, в одну из ночей зимнего химерического Парижа. Комната была полна дыма, который ветер обратно загонял по трубе зажженного камина. А зябкая фея запрещала открывать окна.

Вокруг единорога из золоченого дерева, привезенного из того бирманского царства, где так ценится музыка, Аластайр, одетый в голубую тунику, затканную золотом, протанцовал свои готические танцы. Среди бронзовых оленей, и антилоп, и других стройных животных Дальнего Востока, которые, казалось, паслись на ковре, служил мессу в стихах поэт, одетый в лиловые одежды епископа, с подстриженными

Снова образуется светлый круг и исчезает. Сатурн теряет одно из своих колец, которое плывет в ночи.

Это ореол, который ищет головы, чтобы увенчать ее.

Слышу, как сиделка говорит около окна:—Так довольно? — Нет. Еще.

Она говорит: — Какая светлая ночь! Луна стоит высоко. Можно было бы читать.

Тогда теряю свою беспредельность. Снова становлюсь черным телом меж четырех досок.

Уже не сливаюсь с пределом ночи, но ощущаю предел моей немощи.

Уже не ощущаю вкуса ночного воздуха, но вкус металла во рту.

Окно закрывается, как крышка надо мной.

Порываюсь сорвать повязку и вскочить на ноги.

Воля поднимается из отчаявшегося сердца и снова пригвозждает меня.

Усилие вызывает во мне жар внезапной лихорадки.

Горю. Пот струится, как слезы, которые не нашли выхода через глаза.

У меня такое отчаянное желание увидеть небо, что из сострадания меня подносят к окну.

Солнце зашло. Даже сумерки гаснут. Ничто не может ранить меня.

Лежу почти навзничь. Смотрю на небо здоровым глазом, и небо входит в меня, как будто я прозрачен.

Я как вода, которая дрожит, одна из тех маленьких соленых лужиц, на песчаном берегу перед моим домом изгнанника там, в Ландах.

Сиренетта сидит у моих ног. Я вижу пучок темных желтофиолей в ее волосах.

Не было больше стен, не было узкого камина, не было ни призраков, ни масок, ни обмана.

Был дым костра и пот, выступавший жемчужинами на челе священного певца.

В паузах никто уже не смел ни говорить, ни восклицать.

Иснайят взглядывал на меня перед началом каждой песни. Он хотел показать мне, что поет для меня одного.

Для меня одного он пел предрассветную песнь, гимн зари, таинственный, как весть ветра, ниспосланную на горестную землю тем, „кто, не переставая, изливает свет“.

Четыре доски, кажется, еще тесней сомкнулись вокруг тела.

Ощущаю их на бедрах. Ощущаю одну под ступнями, одну у темени.

И крышка прибита гвоздями.

Нет галлюцинаций, нет призраков.

Все черно, как в глубине сосуда, в котором жидкость сгущается пластами, которые, оседая, ложатся на дно.

Когда я дышу, движение груди как будто поднимает этот осадок, который вздымается и колышется в черном масле. И каждый вздох усиливает тоску.

Зову, прошу открыть окно, впустить свежий воздух.

Чувствую, как воздух вливается мне в рот, точно живая вода.

Тянусь к краю горизонта, где воздух должно быть уже светлеет от зари, чтобы глотнуть его.

Вдруг мое тело делается огромным.

Моя темнота не ограничена пределом темноты, но есть самая сущность мрака.

Четыре доски отпали. Все тело как будто овеяно воздухом.

Меня кладут снова на ненавистную постель.
От неба во мне остается лишь пустыня пепла.

Джорджо играет мне арию Джероламо Фрескобальди, называемую „Фрескобальда“.

Обширное небо Феррары сводом расстилается над моей печалью.

Вижу, как повозки, нагруженные льном, нагруженные словно всей белизной мира, проходят по улицам широким и прямым.

Вижу во дворце Марфизы залу старинного театра, загроможденную льном, полную старческой седины Времени.

Вижу волшебную фигуру женщины, нарисованную на разошедшейся двери, над которой повисла пыльная паутина.

Я один, я охвачен жуткой тоской. Магические глаза смотрят на меня. У меня не хватает решимости толкнуть эту дверь и перейти через порог.

Скрип заржавленных петель нарушил бы музыку, которая очаровала меня.

Во время бессонницы звуки прелюдии Александра Скрябина неотступно носят над моим челом, которое кажется мне легким и прозрачным, как стеклянное забрало на железном шлеме.

Моя голова тяжелеет, откидываясь на подушку.

На голове у меня шлем, но лоб из стекла, испещренного неровностями и пузырями, горячий, как чаша, только что выдутая стекольщиком.

Это единственная часть моего бессонного тела, которая слегка светится над повязкой. Прелюдия Скрябина темного цвета, лилового, подобная переливающейся ткани, которая развевается по вечернему ветру.

Ее переполненное девичье сердце будто входит в меня. Мое сердце бьется поистине за двоих в это мгновение. Оно заполняет все мое существо, от затылка до конца пальцев ног.

Волнение замутило воду, и небо исчезает.

Поднимаю повязку и смотрю на него также и больным глазом.

В больном глазу мерцает отражение звезд и ломается, как в призме.

— Видишь первую в небе звезду? спрашиваю Сиренетту.

— Нет еще отвечает она.

Звездный спектр дрожит в больном глазу.

Спрашиваю: — Можно ли видеть отсюда молодой месяц?

Она встает. Ее фигура вырисовывается на фоне окна. Мне кажется, что она вытянулась от сдержанного вздоха.

— Не вижу его, — отвечает она. — Хочешь, я пойду в сад, чтобы поискать его?

Передаю ей свою тревогу. Моя тревога придает ей крылья, которые наполняют собою сумрак комнаты.

Она уходит вниз. Тень сгущается. Небо пепельное. Оно становится тусклым и безжизненным.

Сиренетта возвращается. Слышу ее легкость по лестнице, как восходящую мелодию.

Не серп ли луны у нее под ногами?

Не венец ли луны на ее челе?

Она говорит: — Луна за домом. Ты не можешь видеть ее.

Я разочаровуюсь, как дитя, не получившее обещанного.

Александр Скрябин.

Пятьдесят юношей нас там было,
пятьдесят потомков безумного взлета,
сыны Икара и Сирен,
внуки Дедала—строителя лабиринта.
В голубых гротах
Икарийского моря рожденные,
в гинекее морском
певчих дев глубины,
от страсти героя пернатого,
обращенного в демона бездны.

Из пурпурной стремнины
на рассвете мы всплыли
на берег гористого острова,
в пустынный круг скал.
Отряхнув соленые брызги с перьев,
на солнце полудня мы их осушали
и расправляли их,
воздевая руки
к небу, лазурному
как материнская грудь.

Ударялось крыло о крыло
в ущелии тесном.
При каждом размахе брат
ломал свои перья о брата.
Сердце вздымалось высю,
как парящее легкое крыло.
Выгибая ступни,
еле пальцем держась за утес,
всем телом тянулись мы в небо,
мы, голубые, из морской колыбели,
томимы тоскою полета.

Она напоминает мне траурную вуаль, которая колыхалась в моем потерянном глазу и позволяла мне видеть в зеркале лишь верхушку бледного лысого лба.

Часы проходят. Музыка подобна грезе безмолвия.

Не сплю, и все же жизнь понижается во мне, постепенно, как отлив. Пульс ослабел. Рука на груди не чувствует сердца.

Музыка удаляется и возвращается, переливаясь, как поток под меняющимся светом сумерек.

Зеленый, лиловый и темно-голубой: вот цвета этой ночи.

Внезапно вижу звезды, звезды равноденствия, расширенные, как их отражение в воде.

Чувствую потом зарю у окна, облокотившуюся обоими локтями о подоконник, глядящую из глаз, удлинненных до самых висков.

Решаюсь слегка повернуть к ней лицо. И из глубины моего отчаяния молю о том, чтобы вздохнуть.

Но никого нет, чтобы открыть окно. Дом спит, стены спят.

Сон вокруг меня,—тяжелый, плотный, непробудный.

Безумие заключено в моем челе, как в стеклянном сосуде. Когда я кричу, челюсть сотрясает больной глаз.

Наклоненная голова снова падает навзничь.

Безмолвие уже не грезит музыкой, оно плотно, неподвижно, враждебно.

Жду вечернего звона, как спасения.

Вдруг слышу что-то похожее на пение петуха, слабое, отдаленное, — не крик пробуждения, а стон узника—кто знает, над каким гниющим каналом, в каком грязном дворе, еще освещенном лиловым фонарем.

развернув свои крылья, взлетел.
Обширней крыло его нам показалось.
Обагрённые кровью нашей соленой,
мелькнули ступни его стиснутых ног.
Уставившись вверх, зарычало чудовище.
И небом глаза наши мы наполняли,
мы, навзничь лежавшие на обрубленных крыльях.
И непобедимым был род наш в полете.

Но нашей скорби утolenия не было.]
Не врачевал никто наших ран,
как только роса молчаливая.

Плач Сирен,
Песнь Плеяд
с молчаливой росой выпила
наша ночная тоска.

Медные ноги хромого
замедляют неровную поступь.

А плясунья
вокруг него пляшет,
размеренная и воздушная, как детский голос, распеваю-
щий на хорах у заутрени.

Тяжело по пути мировому
ложится стопа за стопою.

А плясунья
вокруг него пляшет,
обвеянная и легкая, как овсяная соломинка, что бле-
стит без пыли, подхваченная внезапным порывом
ветра.

Тут мы услышали, как протрубил рог.
И трепет наш мы сдержали.
Прислушивались, с утесов
не идет ли герой
освободить нас,
милосердый, от нашей беспомощной муки,
он, потонувший в вечности!
Но какая-то тень протянулась над нами.
Обернулись мы все, закричали
и увидели в небе врага.

Огромный, весь—кулак и весь—челюсть,
весь—пасть без словес,
потрясал он громадной секирой,
изобретенной Дедалом,
что из ствола вытесал первого бога.
Спустившись, он врезался в чашу трепещущих крыльев,
хватал одного он из нас, и другого еще.
Ударяя секирою снова и снова,
крылья с плеч обрубал.

Струилась кровь из разреза;
не дедаловыми, ведь, узлами—
узлами связок живых—
соединялись с нашей мечтой наши крылья.
Топтали, разбегаясь, мы с криками
жатву истерзанных перьев.
Без усталости бил жестокий топор.
Простертые в судорогах боли,
истекали мы кровью на перья.

И только один из нас спасся в высоты.
Поднявшись над гибелью братьев,
он в пространстве, пробитом секирой,

„Я разметалась на боку
и, как холм, легла
поперек пути
сильному.
Этот холм—
чья-то тень.“

Горсть людей,
посвященных победе и славе.
Стоят наготове
длинные силуры с медными мордами.
Торпеды в железных клетках
покоятся на козлах,
висящих над черной водой.
И одно лишь созвездье
есть для души одинокой:
Правое Дело.

„Я не знаю, сон ли это,
или истома, или то
кроткая светильня,
что меня изнутри освещает.
Кто в объятьях своих,
прозрачную, будет держать меня?“

О женщина, останься со мной, ибо уже вечереет.
Великое безмолвное событие как будто стоит здесь, за
этой узкой дверью. Вот оно входит. Снова является мне
бог страсти, закованный в железные цепи преврат-
ностей, которые он ломает и влачит за собою. Я не по-
следовал за ним.

Вспоминаю тебя, когда ты пришла. Берег моря был
золотистый и мягкий, как цветок мимозы. Волна

Глухо шаги отдаются
в гулкой почве могил.

А плясунья
вокруг него пляшет,
плавная и текучая, как вода, льющаяся из бадьи, что,
опускаясь и поднимаясь на колесе колодца, орошает сад.

Горсть людей
на палубе боевого судна,
держашего путь
к страшной цели,
в ночи без луны и без звезд.
С кормы и до носа—оружье и снаряды,
безмолвье и мрак.
И одно лишь созвездье
есть для души одинокой:
Правое Дело.

„Я поднимаю руки,
чтобы распустить волосы,
и под руками у меня
ладонка с миррой,
что опьяняет любимого.
Но я далеко.“

Горсть людей,
отдавшихся ночи и смерти.
Матросы в защитных шлемах
притаились около пушек.
Корабль сотрясается дрожью великой.
Над мужеством людей небо нависло,
как судьба, полное дыма и искр.
И одно лишь созвездье
есть для души одинокой:
Правое Дело.

Каждый удар
пята окровавленной
обрывает мелодию и искажает ее.
Но когда ритмом неровным
пята поднимается,
снова звучат вожденье и скорбь
бессмертными звуками,
пока новый удар не оборвет их опять.

С головой запрокинутой, побледневший в экстазе
он слушает их; и лицо его
подобно светильнику дивному,
что освещает пляску, но не ведет ее.
Вся душа прилила к нему и горит в нем,
как в алебастре живом.

И ложится тень
от роши лавров,
от роши миртов,
от роши кипарисов.
И освещенным остается лишь одно лицо его
над пляской исступленной и таинственной.

Все тело,
от груди до пят,
принадлежит другому божеству.
Он хочет, чтобы сердце это,
обнаженное и повергнутое,
было втоптанно в землю,
смешано с прахом,
как виноградная кисть,
уцелевшая от сбора
и возвращенная алчной земле.

выбросила на берег утопленника, распухшего и белого, как сгнивший бурдюк. В моей светлой комнате пахло лавром. Еще чувствую запах его.

Я знаю демона, полного грез, который шествует по несформованной земле, и мягкая глина прилипает ему к пятам. Вот он зовет меня.

Более отдаленно я вспоминаю тебя, когда ты причалила к той туманной гавани Ирландии с бесчисленными грудями дымящего угля, грозно освещенной злобующим солнцем. Безликое ожидание разведало что-то светлое среди дыма. Мне казалось, что я вижу, как ты колышешься вверху, на палубе огромного корабля, как перо от стрелы, вонзившейся в тело колосса, который все еще не умирает. Я не ведал твоего имени. Но вдруг я услышал с мачты этого корабля без парусов пение стража Изольды: „Горе, о горе, дочь Ирландии, любовь исступленная!“

И вдруг опять я принимаю форму неведомого и его мелодии.

Все еще у меня во рту металлический вкус, и уже давно я не знаю иного вкуса, кроме вкуса стали, закаленной в густой моей крови.

Останься со мной. Запри дверь. Спрячь ключ. Развяжи повязки, разорви мои узы. Распахни окно.

Пусть снова я выпью с тобою волшебное зелье из воздушного кубка в этот вечер.

Сегодня вечером Скрыбин пляшет с дикостью Игорева дружинника над своим сердцем бессмертным, в котором поет двойная мелодия вождельенья и скорби.

Мрак. Темная ночь.

Кольца Сатурна, кольца всех планет вращаются в беспредельности моего мертвого глаза.

Входит живое существо.

Я не знаю, кто это.

Останавливается у края кровати. Не говорит. По дыханию его чувствую, что голова его наклонена.

Ждет ли оно, что одно из моих роковых колец окружит его?

Как давит ореол!

Этот зеленый поток, который от времени до времени струится из глубины глаза и разливается широкими мягкими кругами, напоминает мне мой песчаный сад в Версии.

Спускался вечер с апуанских Альп, переступая босыми ногами по мраморной пыли каменоломни и оставляя за собой голубые следы.

Я был утомлен после целого дня упорного труда. Я растянулся на своей походной кровати. Первый слой золы уже ложился на пламя моего усталого мозга.

Я не знал, откуда возникла та божественная пауза, которая предшествует на Тирренском море часу, когда поднимается ветер, и мне случалось смешивать ее с мигом моего собственного облегчения.

Я уже не слышал девственного дыхания моря, ни дыхания моей поэзии.

Но вот, воспользовавшись тишиной, древесная лягушка поползла по стеблю овсяного колоса и взобралась на кукурузу; и там принялась за свои певучие упражнения.

Я видел сквозь полузакрытые ресницы, как постепенно зеленело окно, как будто в нем отражался находящийся под ним сад.

Он пляшет, пляшет,
опьяненный отчаяньем,
освещая самого себя,
пока не почувствует,
как сердце под ударами жестокими
втопталось в землю,
смешалось с нею,—
пока не услышит отрывистых звуков
черной и алой песни грядущего,
мелодии вечности,
гимна глубокого
скорби безбрежной.

Я вижу, сосредоточенные лица музыкантов своим тонким слухом прислушиваются к малейшему интервалу звука, к малейшему колебанию звучащего воздуха.

Они представляются мне какими-то миниатюрными, похожими на грациозных животных, в роде ласки, хорька, горностая.

Они преображаются.

Вот они стали прекрасными ангелами, пламенеющими страстью к небесам. Эта красота их как будто соткана из чувствительных нервов, прикрепленных к внутренней деке и натянутых изнутри до крайнего предела напряжения. Из мига в миг, из ноты в ноту, из паузы в паузу, неслышная симфония усиливает остроту этой их красоты и одухотворяет ее.

Внезапно, в горячем влажном дуновении касается меня своим краем *crescendo*, сопровождаемое громкими ударами тимпанов. Удары отдаются у меня в затылке и в груди с болью, заставляющей меня стонать и кричать.

Острые лица наклоняются надо мной, чтобы слушать мою кровь, которая свистит и гудит. Вот они так заострились от внимания, что режут меня.

Кто говорил в рупор?

Узнаю тосканский акцент Пьетро Орсини.

„Немного направо! Один, ноль, ноль“.

В ушах я ощущаю его живое дыхание. Команда раздаётся в моем черепе, как в трубке рупора.

Дайте мне вздохнуть! Дайте мне испытать ветра, почувствовать опасность, погасить искры и звезды в моей тревоге! Дайте мне снова пережить молчание, победу и ночь!

Я не распростерт на своем ложе немощи.

Я стою выпрямившись на палубе „Бесстрашного“; истребитель и весь экипаж — и я, и мы все — носим одно это истинное имя.

Море темнеет, но в его ускоренном биении чувствуется уже ночная флуоресценция.

Морская зыбь светится там и сям внутренним светом, как мигающие веки, сквозь которые пробивается таинственный взгляд.

Молодой месяц похож на кучку горячей серы. От времени до времени черное облако из трубы закрывает ее или точно захватывает ее, как летящую искру, в свой кольца.

Жизнь не абстракция образов и событий, но разлитое ощущение, опыт, предлагаемый всем чувствам, вещество, которое можно обонять, осязать, вкушать.

Я ощущаю все предметы близкими к моим чувствам, как рыбак, который ступает босыми ногами по берегу после отлива и каждую минуту наклоняется, чтобы рассмотреть и поднять то, что движется под его подошвами.

Ничто не ускользает от непрестанно внимательных глаз, которые дала мне природа, и все дает мне пищу и вдохновение. Такая жажда жизни похожа на стремление умереть и стать вечным.

А голос лягушки крепнул и усиливался так, что кукуруза качалась под ритм разлившейся песни.

А море приближалось, бесшумно скользя по узкой полоске прибрежного песка. И я видел из-под тяжелых век, как окно зеленело, подобно стоячей воде.

А лягушка точно впитывала через стебель овсяного колоса всю зелень Версилии и переливала ее пением в мою дремоту.

А море бежало без пены по гладкому песку. Оно приближалось. Оно уже было под изгородью тростника. Проникало во все отверстия. Оно расчесывалось, как гладкие волосы, гребнем острых тростников.

И пение лягушки, достигнув полноты зелени, превратилось в щебетание и сразу оборвалось.

Тогда окно стало бледнеть.

Неопределенная и безмолвная форма, похожая на каракатицу с ее мешком и щупальцами, появилась в пустом пространстве окна и излила большой зеленый поток, который проник до глубины моей усталости, усыпляя ее.

Мне кажется, что этими чернилами я записываю мой возвратившийся сон.

Приехал Гвидо По. Казалось, что за ним тянутся струйки морской воды.

Он приехал из Кьоджи на своей миноноске с быстротой тридцати миль. Длинные волны широко пересекали ему путь. Миноноска вздымала пену в тысячу раз более прекрасную, чем та, из которой родилась Нега смертных и бессмертных. На гребне волны, прорезаемой носом, рождалось в каждое мгновение нечто более прекрасное и более юное: сердце моряка героя.

„Четыре, три, ноль!“

Гардемарин, почти еще дитя, сицилианец, похожий на арабского отрока, воспитанного при дворе Фридриха Швабского, мнет смуглыми пальцами душистый лист, лист одной из тех трав, которые растут в терракотовых горшках на подоконниках в уединенных домишках среди полей.

Запах так силен, что каждый из нас вдыхает его дрожащими ноздрями.

Этот единственный лист на грозном боевом судне, где все — огонь и железо, этот лист любви кажется нам бесконечно драгоценным и вызывает в нашем воображении заброшенные сады Джудекки.

Командир продолжает диктовать боевой приказ своим прекрасным тосканским выговором, своим чистым языком, языком послания Рамонда д'Амаретто Маннелли к Леонардо Строцци, когда генуэзцы были разбиты армадой Венецианцев и Флорентийцев.

Нам предстоит чудесная игра, которая продлится до зари.

Гардемарин держит в белых зубах душистый лист, привязывая себе вокруг шеи черный ошейник, который потом будет надувать своим дыханием.

Мы готовы. Снимаемся с якоря.

Небо над нашей головой полно дыма и искр. Вдоль борта с той и с другой стороны огромные торпеды в железных клетках покоятся на козлах, торчащих над водой.

Длинные силуры с бронзовыми головами, защищенные своими футлярами, готовы к нападению, будто притаившиеся звери.

Матросы с защитными шлемами на головах группами стоят около орудий.

Смерть поистине присутствует всюду, как жизнь — она тепла, как жизнь, прекрасна, как жизнь, опьяняющая, обещающая, преобразующая.

Стою прямо на ногах, обутом в легкую обувь, которая легко развязывается, стою прямо на палубе этого маленького военного корабля, где место только для орудия и воина.

Машина уже разводит пары. Черное облако из трех труб поднимается к нежному молодому месяцу, который сияет в нем, желтый, как горящая кучка серы.

Матросы уже надели на себя спасательные пояса и надули ошейники, которые должны поддерживать голову утопающего.

Слышу голос помощника капитана, приказывающего положить в две единственные спасательные лодки сухари и мясные консервы.

Молодой офицер, нервный и гибкий, как леопард, с глазами, полными отваги, совершив изумительный маневр при сопровождении истребителя из Арсеналов в док, угощает шампанским своих товарищей.

Осушаем бокал в каюте, сидя вокруг стола, на котором разложена морская карта, в то время, как командир эскадры стоя диктует дактилографу приказ о ночной экспедиции, чтобы передать его командирам других судов.

Сдержанная радость сияет во всех глазах. Экспедиция опасна, затруднительна, и это, может быть, последний бокал.

Идем заграждать шестьюдесятью минами залив Панцано между Пунта Здобба и Санта Кроче. Каждая из шести миноносок везет десять торпед.

Судьбе каждой из них грозят прожекторы и батареи с неприятельского берега, нападения вражеских судов, опасность наскочить на мину, прободение дна взрывом.

Рулевой стоит у руля, не отрывая глаз от компаса, освещенного лампочкой, прикрытой колпачком; это человек чистейшей тирренской расы, истинный сподвижник Одиссея, с лицом как бы изваянным ветром судьбы.

Около него стоят телеграфные аппараты машинного отделения с освещенными стеклами: Замедленный ход! Полный ход! Тихо! Стоп!

Рупор передает команду машинам:

„Четыре, три, ноль!“

Идем со скоростью двадцати трех миль.

Бурлящая вода большой борозды светится под фонариками кормы.

„Немного вправо“.

Дежурный офицер, склоненный над картой, которую придерживают свинцовые гири, зашитые в холст, сосредоточенно измеряет, вычисляет с транспортиром, параллелями, компасом и резинкой под лиловым светом прикрытой лампочки.

Большой аэролит пролетает по августовскому небу и гаснет на высоте Капеллы.

Нетерпение терзает мне сердце. Напрягаю взор, чтобы разглядеть в глубоком мраке условленный сигнал земли. Не видно еще ничего. Спускаюсь по двум лесенкам и иду к корме вдоль ряда торпед, шагая через прикурнувших на палубе матросов. С кормы виднеются темные массы истребителей, одна за другой.

Вдруг, внезапный сигнал в направлении носа. Подходим к полю действий. Все воли напрягаются. Сегодня ночью Луиджи Риццо должен быть там, на Мула ди Муджа.

„С носа виден фонарь в Мудже. Видите его?“

„Да“, отвечают во мраке черные рупоры.

И там, где звучит это „да“, все море—как у Данте.

Все пространство запружено оружием, машинами, настороженными людьми. Для того, чтобы пройти с кормы на нос, нужно ползти, наклоняться, пролезать под вымазанными силурами, перешагнуть через лежащего матроса, удариться ногой о канаты, держащие торпеды, распластаться о раскаленные трубы, путаться в веревках, быть обданным пеной, прислоняясь к борту.

Поднимаюсь на рубку. Мы уже снялись с якоря. Ночь. Луна заходит над морем. Через час она исчезнет.

Могучая дрожь машины сотрясает весь корабль. Трубы дают еще слишком много дыма и слишком много искр. На корабле потушены все огни, даже папироски. От кормы до носа одинаковый мрак. Предписано молчание. Экипаж безмолвствует.

Последняя команда, отданная в рупор, раздается в синеве, усеянной искрами и звездами — негаснущими искрами.

Легкий туман поднимается над безбрежными водами. Борозда за судном белеет, а разрезаемая носом волна разделяется по бокам на две струи, из которых по временам исходит странное мерцание. Сзади чернеет идущий за нами истребитель и за ним остальные, все вереницей.

Когда же они выстраиваются в ряд, из общего среднего следа отделяются боковые и создается подобие каких-то необъятных серебряных граблей.

Пьеро Орсини прислонился к борту, устремленный в ночь, — вся его душа в испытующем взоре. От времени до времени он поворачивает свое красное лицо, с кровяными жилками в белках янтарных глаз, отдает приказы отчетливо и коротко.

вых фонарей. Кажется, что все мы в опасности и в тревоге. Небо застилается тучами. Длинные космы облаков, похожие на шевелюры медуз, влекут за собою созвездие, как сети—серебристый улов. Машины тяжело дышат.

Мы все на чеку.

Пьеро Орсини здесь, бдительный, с напряженной душой, со взором, который преодолевает ночь. Если бы в это мгновение нас заметил неприятель, как приняли бы мы бой?

Отчетливая команда, из маневра в маневр, выводит маленькую эскадру на верный путь с отмели.

Вижу, как неприятельские прожекторы, там, на берегу, скрещиваются, как длинные шпаги белого света. Освещенный берег вырисовывается так близко, что кажется, будто мы сейчас причалим.

Мы все напряжены вниманием и ожиданием.

Через несколько минут мы будем на месте, назначенном для заграждения. И мгновения кажутся часами.

Гуттаперчевые пробки сняты с пружин. Торпеды в своих козлах готовы для спуска в море.

Матросы стоя ждут команды.

Последние минуты кажутся нескончаемыми. Мы можем быть замечены с минуты на минуту.

Берег от нас не дальше мили. Трубы все еще приводят нас в отчаяние: дают слишком много дыма и слишком много искр. Наконец с рубки слышен приказ:

„Внимание!“

Офицер смотрит на часы, освещая циферблат лампочкой, скрытой в ладони руки, которая просвечивает кровавым отблеском.

Огромные торпеды, с головами, несущими разрушение, сероватые, как гигантские отвердевшие морские

Приходит радиотелеграмма от Умберто Каньи с крейсера „Пиза“.

„Внимание! Две подводные лодки подстерегают на пути“.

И снова мы вдыхаем опасность и смерть полной грудью при первом трепете рассвета.

Дайте мне увидеть рассвет! Он не повредит мне. Распахните окно! Я задыхаюсь.

Солнце в тумане было цвета апельсина, похожее на полную луну при восходе.

Шесть судов маневрировали быстрыми движениями. Борозды их, казалось, рисовали на воде необъятные музыкальные инструменты для моих новых мелодий.

Исчезла ночная таинственность с искрами и звездами. Появился суровый боевой миноносец с его тремя трубами, четырьмя силурами, с пустыми козлами, выдающимися за борт, с матросами отдыхающими лежа с открытыми глазами.

Мы возвращались в Маламокко.

В Маламокко встретили поезд, нагруженный ранеными. Так была для нас отслужена месса. Невидимый священник поднял дары и чашу.

И все утро получило цвет ран и вкус крови.

Явился Умберто Канья.

Откуда? С палубы ли своего бойкого крейсера? Из той ли застекленной каюты на корме, где я был столько раз вместе с Джузеппе Миральей, чтобы на морских картах изучать курс в то время, как в стальных глазах ливийского героя вспыхивало соблазнительное желание внезапного набега на далматский берег?

Или из глубины древней поэмы о заморских подвигах возвращается он ко мне?

медузы, тут, наготове, безмолвные, неподвижные. Двойной зуб каждых из козел выступает над водой.

„Внимание!“

„Вниз!“

Первая мина скатывается с треском раскалывающейся бочки, падает в пенящееся море, исчезает.

„Внимание!“

„Вниз!“

Прошло восемнадцать секунд, и вторая мина стремительно падает, потом третья, четвертая, и одна за другой все остальные, со всех судов, искусно выстроенных веером.

В три минуты дело исполнено, заграждение сделано в точно указанном месте.

Зубы матросов сверкают свирепой улыбкой. Каждый из них видит в своем сердце, как разрывается неприятельский броненосец.

„Четыре, три, ноль!“

Становимся снова впереди эскадры, берем обратный курс прежней скоростью. Суда будто трепещут боевым ликованием.

Вдали, на берегу, белые шпаги прожекторов продолжают скрещиваться. Разрывается несколько ракет. След нашей эскадры так красив, что кажется волнующимся Млечным Путем.

Один из матросов поднимается на рубку и приносит мне чашку горячего кофе, который одним ароматом своим услаждает мне ноздри и возбуждает сердце. Это нектар боевого судна.

Закуриваем папиросы. Кажется, будто в дыму возвращается запах того листка, растертого сарацинским юношей между смуглых пальцев, и перед нами встают видения запущенных садов на изрытых берегах Джудекки.

И все же его ласка укрепляет меня, подобно сладостным напиткам, возбуждающим кровь.

Кую в себе ту сталь, которую мне хотелось выковать, когда я извлек свои десять канцон из моего „бестрепетного горнила“.

„Твори, огонь!—Пламенной, слава! Певец народов, вдохновляйся победой!“

Неудовлетворенность и затаенная злоба этих малодушных годов, годов позора, встают передо мной, как необходимое подготовление для полноты свершения.

Переживаю в одно мгновение сжатую скорбь „Последней канцоны“. Снова слышу, сквозь сон на океанской дюне лай псов сардинских, овчарок из Фонни, собак с Монте Спада. Вижу вновь, как „квадратный отряд“, похоронивший в Тобрасе своих погибших, без меня поднимается по неприступному песчаному откосу, без меня идет к „верной заре“, идет навстречу верному року без того, кто думал быть „вестником новой жизни и первенцем новой славы“.

Все это сон.

Где и как присоединился я к „квадратному отряду“, и стал во главе его, и неудержимо повел его к „верховному достижению“?

За мною или впереди меня сегодня долгая тень „Героя первородного“?

И не правда, разве, что на пороге старости я возродился князем Юношества, избранный моими товарищами из породы Марио Бьянко?

И разве не правда, что для того, чтобы руководить ими, я сам возжег в себе „более возвышенный и чистый огонь“?

И не правда ли, что я повел, не правда ли, что я их поведу по небу, по морю, по суше, всегда послушными во всех наибольших опасностях?

Или восстает он из горечи того далекого часа моей безумной ревности?

И как не воздавать мне благодарения моему богу?

Мой герой, воспетый в моих терцинах, у моего изголовья. Он жив. Он наклоняется надо мной. Он прикасается ко мне рукой, на которой нет одного сустава, отмороженного в Арктической Пустыне. Не поэта он посещает, а воина, не слагателя гимнов, но товарища.

Бессмертный орел песни снова терзает мою отравленную печень.

„Садись, Каньи. Представь себе, что ты снова погружаешься в тот мрак, который был вокруг колодцев Бу-Мельяна в ту октябрьскую ночь. Я ждал тебя. И я потерял правый глаз, как твой Ладзаро Мочениго прибит в водах Хиоса против паши Кенаана. Но если во тьме я вижу, как сверкают твои тигровые очи, ты, верно, видишь, как светится моя повязка. Ты несешь мне иное зрение. Надеюсь, что и для меня левый глаз станет „холодным светилом всех дерзаний“. Встану и снова буду сражаться. Так я хочу. Тебе понадобилось два часа, чтобы отрезать себе кость пальца теми ужасающими ножницами, от которых сбежал из палатки Симоне Канепа. Так вот, они у меня здесь под подушкой, эти твои ножницы“.

Его присутствие легко. Его шаг легок, его движения легки. Его ласковая заботливость старается ничем не нарушать атмосферу покоя, который окружает мою тревогу. Даже моя сиделка не так осторожна, как этот суровый воин. Вспоминаю, как я в Изола Морозина обращался с ранеными матросами, которые, казалось, не чувствовали боли, когда я их перекладывал на грязных досках, служивших носилками.

Где же те ножницы жестокого терпения? Там, там, в недостигаемой дали, под палаткой полярного круга, среди останков бедной ободранной собаки.

Адмирал рассказывает мне об острове Морозина, как о большом боевом корабле, стоящем на якоре против неприятельского берега. Он знает то, что я, вместе с матросами, сделал в октябре 1915 года.

И еще раз все становится настоящим и живым, все трепещет и струится кровью. От края моей кровати начинаются мостки из досок, переброшенные через грязь, и в мою подушку, как в мешок с овсом, суют свои морды волосатые мареммские кони тех двух кавалеристов, которые охраняют телефонные провода.

Вижу вновь, как сверкнули хищные глаза молодых морских офицеров, с жадностью поглощавших грубую похлебку, когда я вошел в барак-столовую с приказом приступить к стрельбе в полдень.

Вот я иду, полный пламенной радости, по тропинке, по кирпичам, положенным, как мостик, по грязи.

Вот поднимаюсь по деревянной башне, похожей на башню каюты, скрытую в густой зелени дуба.

Матросы кричали во весь рот, показывая ослепительные зубы.

Вижу в лазури Здоббу и Куаранту, снежный венец гор, край Боско Каппуччо, и Ронки, и Добердо, и лес Монфальконе, и дымные трубы, и Рокку, и Дуино, и Мирамар, и Барколу, и Триест—там вдали, как лучезарный образ, каким он мне явился в первый раз с высоты между крыльями аэроплана, весь легкий и строгий своей формой, почти целомудренный.

Прозрачная стрекоза садится на дубовый листок. Жаворонок повис в пространстве и не может насытиться своей песней.

„Привет тебе, Юноша. Хвала тебе в небесах, хвала на морях, хвала на земле!“

Все это сон, и тайный рок, и предрасположение воли.

Напряжение внутренней силы расковывает меня. Толчки сердца разбивают мне грудь. Толчки в затылке тянут повязку.

Внезапным судорожным движением приподнимаюсь на постели, срываю с себя повязки, задыхаясь от волнения, острого, как рыдание.

„Я не могу больше оставаться здесь. Не хочу. Помогите мне, Каньи. Унесите меня. Спасите меня“.

Испуганный, он поддерживает меня одной рукой, другой держит за голову: старается убедить меня, успокоить меня в моей немощи.

— Прошу тебя! прошу тебя, друг мой, товарищ мой! Я не могу выздороветь. Я не должен выздороветь. Избавь меня от этой бесполезной пытки. Помогите мне освободиться из этого обмана, из этого заговора. Спасите меня.

Он испуган. Его заражает моя тоска и смущает его.

Ощупью удается мне зажечь синюю лампочку над кроватью. Вижу посиневшим от мрачного освещения брата моего, одного возраста со мною. А он видит меня разбинтованного, с опухшим слезящимся глазом, с тем обезображенным лицом, которое я увидел на днях в маленьком круглом зеркальце доктора.

Прибегает сиделка. Мятый порыв ослабевает во мне под милосердными руками, которые слишком сильно дрожат. Вся моя сила растворяется предательским потом. Пот, слезы и влажность компресса расслабляют мой гнев, размягчают мою печаль и всего меня. Ничего больше не требую, я больше — ничто.

Говорит:—Здобба спрашивает, В¹ или В²?

Лучше сказал бы: „Бери их, боже, катаю, как умею“.

Большая металлическая труба, запачканная зеленым, висит на ветке. Люди и предметы, все позеленели, как дуб, который нас скрывает.

— Второй, направление 1402, прицел 230.

Снаряд попадает в море; недолет.

По ту сторону линии воды — виднеются дома Сан-Джованни, спокойные под октябрьским солнцем, вокруг колокольни.

Бураджи стреляет по домам Сан-Джованни, чтобы наладить прицел. И четвертый выстрел — тоже недолет. Серия кончена.

У матроса Урони легкое пробито осколком в то время, когда он соединял телефонный провод. Но он не падает. Крепко стоит на ногах и за стиснутыми зубами сдерживает хлынувшую через горло кровь. Когда дело исполнено, он падает, а по восстановленному проводу передается приказ.

Начинается новая серия.

— Моряки! Моряки!

Это мой голос, мой голос товарища раздается в тени густых и низких деревьев, где вечер над рекой ласкает деревянные бараки, как будто бы они были хижинами блаженства. И вот эта река стала уже более таинственной, чем Тимава, опаленный молнией, где омылся покрытый пеной конь Диоскура. Полоска красного света заграждает путь бегущим облакам. Пушки раскалены и так же испачканы зеленью, как их платформы, покрытые ветками. Обжигают мне руку.

На этой платформе я буду снова спать сегодня ночью, с одним глазом, среди снарядов и мешков, на койке узкой, как четыре доски черного плотника.

Между деревьями, уже тронутыми осенью, слышу голоса матросов и ворон.

Уходящая вдаль вереница золотых тополей восхищает меня, как замирающая на арфе мелодия.

„Первый, готовься! Пли!“

Это первый выстрел. Симфония начинается. Все долины наполняются гулом.

Батарея Гаццола обстреливает замок Дуино, где во времена досугов и забав я жывал в дни наслаждений.

Гациола палит с моста, находящегося против левого берега, прикрытого хворостом и ветвями. Вижу, как граната разрывается на опушке леса.

Это что за клики?

По всему берегу мегафон передает боевой приказ, который герцог Аоста посылает морякам.

Симфония разрастается. Гациола стреляет. Бураджи стреляет. Солнце пожирает желтоватый дым. Клики передаются по всем батареям. Каждая пауза наполнена опьяненными трелями жаворонка. Но понемногу и воздух становится металлическим.

„Четвертый, готовься! Пли!“

Маленький белокурый офицер с усами, подстриженными щеткой над выступающими губами, вычисляет на тетради данные прицела.

— Первый, направление 1454, прицел 345.

Рядом с ним стоит рулевой с квадратными плечами, все время с микрофоном возле уха. У него большие карие глаза с кровавыми жилками, как у сирийских коней. Борода короткая и огненная, ноздри открытые, дыхание громкое, шумное. Он точно отпечатан старым нашим штампом яростного партизана черных или белых. И плохо вслушивается его ухо, склоненное к бесполезной игрушке.

Подбегаю. Мне кажется, что она не выпускает моей руки. Она знает, что услышит из крови говор Ортоны, говор своей родины.

Встречаем матроса, который несет рукав артиллерийского унтер-офицера с красным кантом и часы в кожаном браслете в клочках. Длительное рычание бороздит синеву над нашей головой. Мостик обрызган кровью. Это доска? Это дымящаяся головешка.

Но нет иных носилок, как только доски, только грязные доски. И где возьмем мы перевязки и где возьмем лекарства?

Обнаженный герой снова встает из человеческой персти. Преобразуется из первобытного праха.

— Почему не стреляет больше батарея?

Что за тревога вырывается из истерзанного тела?

Тело окровавлено и сведено судорогой; и среди, всех этих трепетных мук есть ухо, есть бдительность, есть острое души, которое напряженно прислушивается.

Джузеппе Маджора не думает ни о чем, кроме своего орудия. Он хочет слышать грохот своего орудия. Кровь течет у него из носа в беспокойный рот.

— Четыре года назад, 18 октября, командир, мы были в Бенгази, помните?

Это первое слово, которое он сказал Бураджи, когда увидел его: воспоминание битвы, воспоминание победы, героический итог времени и души, итог двух жизней.

И продолжает беспокоиться о своем орудии, которое умолкло. Хочет вернуться к нему. Искалеченный, хочет встать, чтобы продолжать сражаться. Пытается приподнять раздробленную руку, грозя мстью.

— Батарея больше не стреляет!

Сожгите мою больничную кровать!

Позовите матросов, чтобы они выстроились рядами в этом пространстве, которое кажется бассейном лагуны и вознесено на сто тысяч локтей над вчерашней жизнью.

Матросы! Матросы!

Вся темнота—как бы завитая раковина для усиления моего голоса.

Мне кажется, что я раздаю укрепляющий напиток против усталости и лихорадки.

В своей коже чувствую, как постепенно остывают пушки.

Во тьме плотные ряды сереют, как новое железо, но детские зубы мелькают в добродушных улыбках.

Разве кто-нибудь устал?

Идем за новыми снарядами, ребята. Стрельба кончилась. И вновь начинается.

Платформы притаились, как бобры, „полу-звери, полу-рыбы“.

В безмолвии, проникнутом влагой, остывают пушки и дышат из открытых затворов.

Матросы проходят вереницей с гранатами на плечах, в прекрасный вечер, сами прекрасные, как жители древней Аттики, несущие священные сосуды.

Кто не боится смерти, не умирает. И смерть не хочет того, кто ищет ее.

Я стоял, прислонившись к брустверу третьего орудия. Я двинулся, чтобы отойти от батареи и снова подняться на древесную обсерваторию.

Австрийская граната разрывается на бруствере третьего орудия. Четверо раненых.

Не мать ли моя взяла меня за руку?

Но у него от глаз остались одни впадины, там, на маленьком кладбище Острова, где я обещал поставить в память его крест и еще не поставил.

Сегодня вечером я еще раз поднимаю его, еще раз кладу на ту грубую доску, покрытую моим офицерским плащом. И вновь моя мать сегодня вечером со мною и помогает мне.

Самая прекрасная человеческая улыбка—это та, которая сияет у предела нечеловеческой скорби.

У какой Марии было когда-либо лицо, подобное лицу той, которая склонилась?

Джованни ранен в живот, ранен в поясницу, ранен в бок. На какую сторону мы положим его?

Когда кладем его лицом вниз, он не кричит. Когда кладем на спину, он не кричит. А между тем, его страдание щемит даже мертвую доску.

Стою на коленях в грязи. В безмолвной муке он упирается ногами в мое бедро. Я стискиваю зубы.

Ноги его босы. Сам он полуголый. Возвращается в колыбель. Возвращается в лоно рода.

Я сам принадлежу к его роду; и я страдаю его страданием с безмерной глубиной, которой не могу передать, со всей детскостью и со всем старчеством, всеми реками от истоков до устьев, и всеми горами от подножий до вершин.

Его бедная плоть—моя плоть. Его мужество в страдании—мужество моей матери и моего племени.

Он лежит ничком. Он изувечен. Ему двадцать лет.

Его тело лежит как те туши животных, которые мясник разрубает на прилавке в бойне. Так же божественна душа его, как безобразно тело. Оно не прикрыто ничем, кроме лохмотьев его грубой рубахи, и

О, мой Маджора, где ты? В Мандрии ли ты? или в Венерия Реале? Начинаешь ли вновь жить и пламенеть?

И почему сегодня вечером тебя нет у моего изголовья, как я был у твоего в ту октябрьскую ночь, в лазарете № 71 на острове Морозина?

Помнишь ли ты?

Ты не переставал выражать мне свою благодарность, мне, делавшему усилия, чтобы не пасть на колени и не целовать твои руки.

А рядом лежал унтер-офицер Корсани; и он, как и ты, думал только о своих орудиях. У него вынули правый глаз... Он был забинтован, как я теперь. И он был так ясен и так мягок, что это заставляет меня теперь стыдиться.

Ты помнишь ли?

Там же был еще Урони, тот, который соединял провода; он был в тяжком состоянии, но думал только о батарее и умолял, чтобы ему дали вернуться к ней, и плакал от огорчения, и обещал стать лучше, и не сознавал всего своего величия.

И ты также не сознавал своего, о, мой Маджора!

И когда я вышел из того полевого госпиталя на Аузе, потеряв свой правый глаз, в моем диком отчаянии я вспомнил о тех немногих, которые бы заплакали. Я вспомнил о Корсани, который бы заплакал. Вспомнил о тебе, который бы заплакал.

И сегодня вечером, как отрадно было бы мне иметь вас обоих, по одну и по ту сторону моего изголовья!

Еще один заплакал бы и, может быть, еще сильнее других: Джованни Федерико, матрос с родины моей матери, матрос из Ортоны.

Завидую смиренному двадцатилетнему герою из моего племени, который покоится в тебе под простым деревянным крестом. Он, может быть, не слышит; но если б я лежал под этим могильным холмом свежей земли, который я сложил ему лопатой безыменного могильщика, я, наверное, слышал бы непрерывно шумящей в моей вечности золотую мелодию твоих тополей.

Не ангел ли их считал? Не ангел ли их настраивал? Не ангел ли согласовал?

Во всех трех ангелах моя любовь узнавала улыбающееся лицо умирающего.

Сколько жизни, сколько красной жизни еще есть во мне!

Мое страдание насыщено кровью. Мои сны исполнены кровью. Кажется, моя мысль налита тяжестью крови.

Иногда передо мной, с ужасом от него отвращающимся, встает мое прошлое, кровавое, как бойня, заваленная разрубленными висящими тушами.

Кровью пишу я о своих страстях. Как у ваятеля—глина, у меня запекается кровь под ногтями.

Здесь, на маленьком столике, среди лекарств, между желтой склянкой с атропином и свернутыми бинтами, стоит чашка с красноватой водой; в ней блестит тонкий стальной инструмент.

Ставни последнего окна, там вдали, прикрыты.

Бьет час пополудни. Я один. Все мои ушли обедать. Этот час пронзает мои ноги еще более острым гвоздем.

От времени до времени дуновение ветерка касается моей слепой повязки.

обнаженные знаки пола усиливают отвращение и убожество, и невинность, и сострадание, и священное чувство прерванного творчества рода.

Его безбородое лицо обращено ко мне, и он не отрывает от меня глаз. Он точно пьет меня. Пьет через меня то милосердие, которое изливается на него с алтаря церкви, где он был крещен и впервые причастился.

Моя мать через мои уста говорит с ним так, как говорила бы его мать.

И самая легкая из его детских улыбок появляется в пределе его мук.

О, несравненная музыка божественной войны!

Героизм, кровь, смерть, сострадание, надежда дали мне благодать, чтобы принять и удержать в себе неслыханную мелодию.

Что значит для меня, по сравнению с этим, та музыкальность, с которой в картине Тициана расположены трубы органа и благородные деревья сада на симметричных расстояниях среди источников!

Ни один грандиозный орган не наполнял своими раскатами сводов собора так, как эта широкая аллея безмолвных тополей наполняла мою душу.

Мои нервы, связки, фибры порвались при разлуке с ранеными и с умирающим.

Я плохо вымылся, и под ногтями у меня еще оставалась кровь, как и на одежде.

О, Изола Морозина, вся белокурая от злаков и голубая от прудов, равная самой светлой из дочерей Сан-Марко, раскинувшаяся навстречу октябрьскому закату,—я оставил в тебе самую глубокую тайну моей страсти, я оставил в тебе самый сокровенный ритм моей музыки.

Мало-но-малу дождь заглушает, ослабляет, гасит его.
Ровный шум берет верх.

Ночь возвращается, опирается локтями о кровать;
прикладывает черный палец к губам и пристально гля-
дит на меня.

Я постоянно жажду. Мои мучители запрещают мне
пить и продолжают обжигать мне рот иодом.

Сегодня одно слово, в опустошенном мозгу, звук
одного навязчивого слова ожесточает мою пытку среди
образов влажных и прохладных: „алошья“.

Это, кажется, летний напиток с лимоном, медом и
пряностями.

Демон снова разжег в глубине моего глаза все огни,
и дует на печальный костер со всей силой своего без-
умия, как в самые ужасные часы этой беспощадной
пытки.

Жар превращает все мое несчастное тело в связку
хвороста, лежащую у самого края огня.

Лист папоротника у меня в глазу размножается, ра-
стет, густеет.

Вот я становлюсь подобным той заросли папорот-
ников, с отливом меди и золота, которую я видел в го-
рящем лесу в Ланде на самом краю пожара.

Пламя коснулось ее, но не сожгло. И я был полон
восхищения и суеверного чувства при виде этих тон-
ких и легко воспламеняющихся вещей невредимыми у
края огня. Они могли воспламениться в одно мгновение,
в одно мгновение превратиться в пепел, но прожорли-
вый огонь чудесным образом пощадил их.

Кто покрывает меня раскаленным пеплом? Вершина
сердца искрится и пробивается через пепел.

Мне хочется пить. Как-то недавно у Ренаты в глазных яблоках мелькнуло словно трепетание ручейков.

Все мои за трапезой. Подкрепляют свои силы.

Утренний луч солнца проходит сквозь прикрытые ставни. Освещает фарфоровые края чашки, в которых светлая кровь рдеет яркостью пурпурной розы.

Легкая тень мелькает взад и вперед. Скользящая тень касается чашки, исчезает, возвращается.

Внимательно слежу за ней. Достаточно этого, чтобы взволновать мою печаль и обострить мою тревогу.

Это тень бабочки.

Мрак сгущается в то время, как кратер глаза снова пробуждается.

Точно внезапное извержение воспламененных облаков, вздымаемых и увлекаемых эпическим ритмом.

Это материя, густая и богатая, принимающая образы скорби и безумия каких-то скал в постоянной метаморфозе.

Это фон для какого-то великого подвига, которого я еще не знаю.

Все вновь воспламеняется. У зари не роса, а искры. Вот начинается утренняя птица.

Сначала это точно посвистывание тлеющих зеленых сучьев. Но вот огонь разгорается, разрастается, разгрызается.

Он заливаётся трелями, щебечет, воркует.

Различаю в огненном хоре другой звук.

Чуждый звук крепнет в силе. Пение точно сдается.

Догадываюсь, что идет дождь.

Дождь заливает пение, как пожар мелких сучьев.

Пение разбивается на тонкие огненные языки.

Горячая зола обжигает. Чувствую запах горелого копыта, как у дверей кузницы. Дышу пламенем. Слышу попеременно пыхтение, шипение, треск. Обливаюсь потом и задыхаюсь.

Кто этот человек, с обожженным лицом, в пылающей одежде, который катается по песку и неистово кричит?

Продвигаюсь по испепеленной пустоши.

Еду верхом по мрачному лесу, среди пепла и песка.

От времени до времени молчаливый вихрь вздымает пепел на большую высоту.

Вижу, как в безмолвное небо поднимается длинная тонкая воронка и колыхается.

Она очаровывает меня.

Направляю к ней лошадь, чтобы ближе рассмотреть ее.

Как только приближаюсь, она рассеивается.

А другая возникает дальше.

И чарует меня.

Я приближаюсь. Она исчезает.

А дальше возникает еще другая; еще одна, и еще одна.

Они колыхнутся, безмолвные, в пламенном воздухе; кивают; тают, теряются.

Это точно ларвы жертвенных костров.

Перескакиваю через рвы; пересекаю широкие песчаные дороги, называемые в Ландах „защитой от огня“, которые, однако, не смогли предохранить от пожара смежные леса. Песок в них смешан с золой и с мелким толченым углем.

Под обрывом клубок корней горит и дымится со свистом, шипением, треском.

Там и сям, среди обугленного и испепеленного, вижу нетронутую сухую былинку, нетронутый лист папоротника.

Я сам свой пепел и сам свой феникс. Я и тусклый,
и светящийся.

Восстаю из костра, опьяненный бессмертием.

Кто водрузил меня на коня такой властной рукой?
Дух внимания входит в меня, как бог, вооруженный
тысячью очей.

Внимание творит то, что оно созерцает.

Я создаю пламя.

В этом мой сокровенный рок.

О, лес крайнего Запада! О, рощи, полные душистых
ран! О, убежище в изгнании моего мужества, источае-
мого сердцем как смола!

Я еду верхом по сгоревшему уже сосновому лесу.

Блуждаю среди молодых сосен без будущего, при-
несённых в жертву, как первенцы-младенцы раскален-
ному бронзовому идолу.

Почва горяча, там и сям дымится, черная, с поло-
сами белеющего пепла.

Сосны мрачны, опалены до вершин, без игл, с одними
голыми ветвями, но все на ногах, как непобежденные
мученики.

Некоторые обуглены, но огонь еще работает в ство-
лах, ищет корней, пожирает их под землей.

У других чернота во всю длину шершавого ствола
покрыта легким налетом пепла.

В каждый пустой пень копыто моей лошади может
провалиться, как в раскаленные ножны.

Ни на минуту не ослабляю бдительности.

Я весь—внимание, весь—зоркость. Грозят прободать
подошву черные шипы, разбросанные как те железные
крюки, которые калечили неприятельскую конницу.

Они оставили за собой лес, обугленный и дымящийся. Несутся вперед бесконечной цепью. Развертывают боевой фронт, который теряется вдаль, внедряясь в облако черного дыма.

Их сила такова, что они, кажется, рождаются не на поверхности земли, где начинаются корни, но прорываются из глубины, вздымаются из бездны, как извержение открытого кратера.

Они бурны и настойчивы, стремительны и постоянны.

Они учат, как надо сражаться.

Вот приемы огненного искусства.

Языки пламени нападают на стволы, принимаясь за открытые корни, за выступающие над землей разветвления их.

Потом они ползут вверх по коре.

Они словно нащупывают, словно ищут, где бы лучше укусь.

Вонзаются там, где была вырезана ветка, в смолистый разрез, в ароматную рану; и не отстают.

Когда утихает ветер, они спадают.

Тот, который впился в живое место ствола, уже не отрывается. Остается один в воздухе, неотступно кусая, неотступно пожирая, отделившись от остальных, один в своей алчности, в своем упорном безумии.

Мне вспоминаются, не знаю отчего, те морские сражения, те отчаянные схватки, когда кулаки и челюсти впились друг в друга с палуб кораблей, и вражьи секиры отрубают кисти рук, рубят шеи; а страшные руки все еще цепляются за дерево, зубы впились в дерево, з то время, как тела падают вниз и тонут.

Вижу там и сям, по краям рвов, до которых докатился пожар, пучок зеленой травы, стебелек, покрытый маленькими цветочками, розовыми или лиловыми.

Изумленная душа видит в этом себя.

Уже не ларвы пепла, но черные столбы дыма.

Зловещий гул, который, кажется, поднимается из самого сердца земли.

Среди горящих сосен гоню коня, будто к искупительной бездне.

Змеиные чары опасности обвивают мою грудь.

Почва дымится и хрустит под копытами.

Тучное облако дыма поглощает отдельные языки пламени.

Терпкость смолы раз'едает мне горло.

Гул растет, потрясает меня, оглушает.

Из сокровенной глубины души у меня вырывается песнь, когда между стволами внезапно появляется живое пламя.

Краса огня, ты для меня каждый раз новее весны.

Множество языков пламени выстроено в ряды передо мною, как непроницаемая рать.

Над брызжущими струями соков, над шипящей смолой, покрывая треск и взрывы, они поют.

Они выстроены в единый ряд, несущийся вперед с пожирающей быстротой.

Выедают мне глаза, обжигают лицо.

Они оранжевого цвета, но к нему порой примешиваются голубоватые, зеленоватые, сероватые тона.

Порой краснеют, как жар, порой ослепляют, как молния.

Каждое изменение их волнует меня, как взоры, которые притягивают своими чарами.

Через него я вижу солнце, подобное красному диску, которое вот-вот остынет.

Больше не вижу его. Оно поглощено.

Ветер затихает. Дым рассеивается.

Я снова вижу диск. Понемногу из красного он становится рыжим, из рыжего золотистым.

Но под тенью облака пожар светит ярче, чем он.

Вот, весь край дымного облака ослепительно зазолотился.

Солнце ли побеждает?

На мгновение оно воссияло в лазури в то время, как огромное полыхающее падает и стелется.

Но вверху, в узлах высоких стволов, маленький огонек бодрствует и гложет.

Но там, вверху, в обессиленных стволах, уже обреченных смерти, маленький упрямый огонек выискивает последнюю каплю смолы.

И таинственная мелодия в минуты затишья становится явственной.

Она звенит, как чистый голос сопрано.

Она уносит меня за пределы огня.

Не саламандры ли поют?

Океан снова дышит своими порывами между крепкими дюнами.

Грохот и гул покрывают волшебный голос, который избавляет от страдания того, кто горит.

Грохот и гул превращаются в мычание буйволов, в рев львиц.

С новой яростью огненные языки, поднимаясь все выше и смыкаясь теснее, устремляются вперед воинственными рядами.

Так красные когти пламени, красные пасти огня
остаются впившимися в ствол, отделенные от упав-
шего тела.

О, нерадивый воин, помни о брате Эсхила.

Некоторые стволы горят только с одной стороны,
как будто огонь пробивается изнутри через верти-
кальный надрез, сделанный смологоном.

Огонь похож на разорванное знамя, водруженное
на дереве.

Вот, ветер усиливается.

Все победные знамена развеваются, шумят, разры-
ваются на клочки, которые летят во все стороны.

Могучий соленый ураган доносится с моря.

Огонь скачет и пляшет, подпрыгивает выше де-
ревьев, охватывает сосны целиком, обжаривает их от
корней до макушки, бушует, ревет.

Куски пылающей коры и горящие шишки летят на
далекое расстояние, как камни из вулканов.

Бесчисленные гнезда, сотканые личинками гусениц,
воспламеняясь, летят на еще большие расстояния, пере-
носят пожар вдаль, в безопасный лес.

Смола кипит, шипит, брызжет.

Глиняные сосуды, кипящие, раскаленные, перепол-
ненные через край, подбрасываются, падают, взры-
ваются, как ручные бомбы.

Каждый порыв ветра мечет мириады красных
игл.

Среди грохота начинает различаться таинственная
мелодия, она разрастается, струится.

Не саламандры ли поют?

Пламенные языки уносятся с дымом к самому небу.
Вихрь черного дыма наполняет воздух, надвигается на
солнце.

Встречный огонь наступает. Враг приближается.

То желтеет, то краснеет. Разбивается на мириады огней; снова сливается; распадается; растворяется.

Брызжет, шипит, трещит, скрипит, свистит, расщепляется.

На помощь, на помощь!

Из каких недр поднимается этот вопль страдания и ужаса, который раздирает мне душу?

Это уже не голос стихий. Это голос твари.

Захваченные между двумя огнями, обезумевшие животные ищут спасения.

Огонь с одной стороны гонит их, встречный огонь преграждает им путь.

Ослепленные полымем, они ударяются о горящие стволы, задыхаясь.

По длинному раскаленному коридору безвыходного лабиринта они бросаются с ревом, и зловещий рев несется в удушливом дыме с целым вихрем горящих кусков коры и пламенеющих шишек.

На помощь, на помощь!

Топчем жар, ступаем по горящим головням, глотаем искры.

Эти упорные гонители пламени—не фаланга ли это мучеников, принужденных сражаться против огня господня?

Против каждого из них пламенеющий ангел и тысячи извилистых мечей.

Дети плачут, старики бросаются на колени; женщины стонут, как в мучительных родах.

И кто же Господин этой огненной битвы?

Из какой глубины веков поднимается зарево этого состязания огней?

Вижу мать-богиню Кибелу без башен и без львов.

„Лес—мой!“ — кричит неумолимый вождь, и боевой лик его—словно мой лик.

„Мой—весь лес и все благоухание его!“

Он первый бросается на приступ, и первый своей красной рукой хватает всклокоченные космы.

„Люди, ко мне! Ко мне, обитатели леса!“ — кричит смелый противник, и боевой лик его—словно мой лик.

Огонь прибьет огонь, пламя убьет пламя, чтобы враждебным пеплом обеих сторон снова оплодотворилась земля.

Кто этот человек с обожженным лицом, с горящей одеждой, который бросается в песок как будто для того, чтобы зарыться в нем?

И не может затушить пламени.

Ко мне, народ! Старики, женщины, дети, ко мне! Ко мне, все жители Ланды, у кого есть руки и есть дыхание!

Я веду встречный огонь.

Против цепи огня ополчается цепь человеческая.

Против фронта пожара стоит другой фронт.

Встречный огонь разгорается.

Длинными свежими сосновыми ветками юноши, старики, женщины и дети гонят красного зверя, чтобы заставить его устремиться на другого зверя, который наступает.

На помощь, на помощь!

Гонимое пламя извивается. Порывы ветра отбрасывают дым обратно на людей. Возрастающий жар обжигает ресницы, брови, бороды, одежды.

Горло пересыхает, глаза слезятся.

На помощь, на помощь!

Но рука похитителя
сгорела до кисти,
и искуплено было дерзанье,
и грядущему дан был завет.
О, жертвенный огонь всежжения,
не угавай в твоём пепле
светила бессмертия,
что искрой горело в сердцах.

Снова ли вихрь зловещий
вздымает холодный пепел?
Это то, что не умирает.
Молчаливые ларвы снова ль
поднимаются в небо безмолвное?
Безмолвие полно ожидания.
С каких вод заструилось дыхание,
что волнует пустыню бездушную?
Воды затихли.
Что́ этот трепет крыльев?
Что́ эта радуга перьев?
То дети Солнца.
Что́ это диво златое,
краше огня?
Гимн возрожденья, о, король Лемуэль!

Слышу пенье Фениксов!
И опьяненье врывается
небесным потоком в меня.
Чую своего бога в себе.

Слышу пенье Фениксов,
Песнь, напоенную ароматом мирры
и ликованием горечи.
Чую своего бога в себе.

Вижу ее пеструю одежду, сотканную из воздуха, воды, земли и огня.

Вижу ее поклонников, несущих сосновые ветви, вижу щетинистую процессию ее дендрофоров, похожих на священное дерево.

Кто воет? кто ревет? кто зовет из бездны и с вершины?

Солнце померкло.

Гром ли это Последнего Суда заглушает шум битвы двух ревущих противников?

Где они встречаются, все уже уничтожено.

Все уже черный уголь, и пепел, и горячая зола.

Огонь угасает.

Огонь угас.

Скорбь сражена, и ужас замолкает.

Но, вот, безмолвный вихрь подхватывает пепел, в котором еще таятся искры, и вздымает его к темному редющему облаку.

Вижу, как длинная тонкая воронка поднимается, колышется, удаляется.

Это ларва жертвенного костра.

О, огонь всесожженья, юная жертва
в белой высоко опоясанной ризе
простирает к твоему сиянью
свою наполненную росой ладонь,
подобную одинокой чашечке полевого вьюнка,
которую заря налила до краев.

О, огонь всесожженья,
у тебя отняли сердце человека,
где бурлила кипучая кровь,
как в висячих сосудах из глины
золотые слезы смолы.

III.

Дремота первого апрельского дня. Полуденный дождь замирает на листе и прекращается.

Моя дремота в гармонии с садом, которого не вижу.

Чувствую час морского прилива, чувствую, как заливает берег.

Мелодии птиц отдаются во всей моей грудной клетке, как пение моих примиренных духов.

Божественное отдохновение. Дремота, похожая на экстаз, прозрачная и покойная, как ручеек равнины.

Сиделкой у меня не Сиренетта, но сестра Аква, существо „смирненное, драгоценное и чистое“ „Песни“ Франциска.

Своими длинными серебристыми руками она в моей худобе ощупывает все мои жилки, распутывает их, разделяет, расправляет и возвращает к земле и к миру.

Мне чувствуется, будто одна из них от плеча спускается по руке с девственной чистотой и, протекая через пальцы, превращается в хрустальный смычок, чтобы играть на струнах весеннего дождя.

Слышу, как снова начинается дождь после паузы.

Мой слух всплывает над дремотой, как те пловучие листья, что имеют форму настороженного уха.

Пение птиц и духов мало-по-малу замирает.

Весь пепел—семя.
Все терния—побеги.
Вся пустыня—весна.
Чую своего бога в себе.

Лес возродился пальмами,
лес зашумел в эфире, свободный
от рабства земли.
Чую своего бога в себе.

На вершинах пальм идумейских,
не склоняя их, не колебля,
поют Фениксы восставшие.
Чую своего бога в себе.

О, Фениксы огня всесожженья,
не расскажу я о пурпуре вашем восточном,
ни о венце из неведомых звезд.
Вижу своего бога в себе.

О, Фениксы огня всесожженья,
Не открою священного слова,
что отмыкает и завершает круг каждого года.
Служу своему богу в себе.

Быть на Форуме
слепым духом какой-нибудь травки
и терпеливо трудиться,
чтобы найти трещину
в священном камне,
по которому проходил топот Триумфов,
и, наконец, найти ее,
и пробиться тонкой головкой,
и высунуться, и зазеленеть, и радоваться
Солнцу,
которое никогда не видело ничего величавей
Рима.

Краткая передышка. Снова тоска сжимает мне сердце, опустошает мне грудь.

Луиджи Брестьяни и Роберто Прунас приходят навестить меня; они объявляют мне, что завтра утром состоится проба дальнего полета и что это будет решающим испытанием большого морского аппарата, на который мы все, бойцы Адриатики, возложили наши надежды победы и владычества.

Сердце мое бьется так сильно, что, мне кажется, я умираю. Стук его мешает мне слышать слова. Чувствую, что Джино наклоняется надо мной и кладет мне руку на грудь.

Теряю сознание времени и места. Мы снова, как тогда, когда опирались друг на друга, чтоб удержаться, в то время как четыре матроса переносили на простыне тело нашего Миральи в открытый гроб, стоявший на полу параллельно кровати.

Внезапный ужас сковывает мое тело как в ледяную массу, и мне кажется, что в той же льдине заключен также и мой товарищ.

Сколько проходит времени?

Чувствую вдруг, как сохнет во рту.
Стальная пленка вновь покрыла язык и небо.
Поднимаю руку и той, которая около меня.
„Сестра Аква!“, шепчет легкая глициния. „Сестра
Аква!“, взывают кусты роз, в жажде цветения.
Анютины глазки, склоняя свои печальные личинки,
вздыхают: „Сестра Аква!“

Я похож на один из тех конических холмиков, на
картинах умбрийских художников, с распятием на
выжженной вершине и струящимися по склонам ручейками.

Быть итальянской прекрасной пинией
на одном из римских холмов,
когда восходит полная луна,
и чувствовать, как ночной ветер
колышет нежные верхушки,
которые обновляют жизнь между старыми иглами
на конце старых ветвей,
похожие на детские розовые пальчики.

Быть самым высоким и самым черным
кипарисом виллы д'Эсте,
в вечерний час,
когда родник
откидывает тонкое кружево папоротника
с влажного уха,
чтобы прислушаться к отдаленному рокоту
Тибуртинского водопада;
и осязать негу вечера
чуткими светло-зелеными побегами,
что окаймляют могильную листву.

Почему ты так спешил?

Ждала ли тебя твоя маленькая подруга, которой я никогда не знал, в том твоём домике под арками Барбаригго, где я никогда не был?

Ожидали ли тебя твои псы, которые однажды, в декабрьский вечер, возвестили о тебе нам с Беппино в то время, когда мы стояли перед барельефом из Зары в Санта-Мария дель Джильо?

Ожидала ли тебя твоя музыка, которая точно помогает тебе освобождать от закона земного притяжения твои стройные сооружения?

Не знаю, почему ты оставил сегодня вечером после себя облако грусти. Мне кажется, что на стесненной моей груди остался след твоей руки.

У тебя бывает иногда детское лицо; и ты говорил со мной, как с ребенком, обещая, что дождешься меня, чтобы в первый раз направить свой аэроплан на врага.

Ты, казалось, хотел обмануть меня.

Но я встану. Через несколько дней я встану. И начну вновь. И говорю тебе, что ни один смелый набег не сможет совершиться без участия моей счастливой руки.

Я стыдился своего желания выздороветь. Но теперь я знаю, что давал себя мучить напрасно. Мой глаз потерян. Нет в нем больше заключенной бабочки, нет и папоротника. Отвратительный черный паук поместился в нем, заняв всю середину его своим брюхом. И никто не прогонит его оттуда.

Мои доктора как будто боялись чуда. Теперь уже не боятся. Зловещий рок совершился. Знай это.

Бдительный циклон будет твоим товарищем. Где ты? Дома, с твоей любимой, с твоим псом? Или ты вернулся в Арсенал, в убежище твоего морского Орла, над которым, быть может, и ночью твои механики работают, заканчивая его?

Сердце утихло, но я умираю от тоски.

Джино и Роберто к вечеру ушли. Завтра поутру они будут вместе в большом крылатом корабле, как были я и мой пилот, с которым я встречусь когда-нибудь лицом к лицу.

Я нарушил запрет. Я приподнялся на локтях, чтобы сказать им последнее прости и последнее пожелание.

Никогда у меня не было такого страстного желания встать.

— Возьмите меня с собой! Спасите меня! И я вас спасу. Я принесу счастье тому, кто меня понесет.

Они меня уже не слышат. Едут по переулку, едут по полю, едут вниз через мост.

Наверное они жалеют меня, узника. Но они не могут не быть опьяненными, как были мы всегда накануне дня испытания.

Это вторая ночь апреля. Луны нет.

Вижу над крышей звездное небо. Весенние звезды кажутся свежими, как цветы миндального дерева. Они наполняют своим ароматом лазурь, ветер и юную тоску.

Я хочу вдыхать аромат апрельских звезд.

Почему вы так скоро покинули меня? Почему, Джино, ты так скоро ушел? Так недавно мне казалось, что ты слит со мной, как в тот декабрьский вечер, помнишь, вечер 23 декабря, когда я поднялся с колен после того, как прикоснулся губами к трехдневному трупу и увидел тебя, побледневшего, увидел твой по-детски судорожно сжатый рот и, скрыв лицо на моем плече, рыдал вместе с тобой.

Если бы ты еще побыл со мной, если бы ты отпустил Роберто Прунаса одного и остался еще со мной—не надолго, конечно, явился бы перед нами тот кого мы оба так любили, и он стоял бы между моим изголовьем и твоим стулом.

ных попыток он уже не мог выдержать мучений жажды и захотел утолить ее водой из твоего радиатора, а ты приставил ему револьвер к виску и сказал: — Если возьмешь у меня каплю, буду стрелять.

Как мне люб был в тебе этот героический поступок по отношению к герою-товарищу для спасения оружия и двух бойцов! В тебе, чья улыбка так застенчива, в тебе, чья безбородая и белокурая головка гардемарина всегда склоняется на левое плечо.

Но сегодня ночью, друг, дай мне испытть каплю воды из твоего радиатора.

Не сплю. Не могу заснуть. Ночью еще меньше, чем днем.

Теперь, когда мой левый глаз стал немного видеть свет, тревожная тоска овладевает мной, когда на стеклах прикрытого окна сгущаются сумерки.

Это час, когда весь город погружается во мрак, и я умоляю не закрывать окон.

Упиваюсь последним светом с тоской умирающего. Когда ставни закрыты, комната превращается в гроб. Четыре стены теснят тело, как четыре доски. Блуждающее мерцание в глубине завязанного глаза рисует призрачный образ бессонницы.

Спит ли Джино Брепьяни?

Вновь слышу Largo из „трио духов“. Маленькая соседняя комната, гулкая как резонатор, сохранила его в себе, подобно шкатулке, сохраняющей аромат.

Сегодня ночью диалог между скрипкою и виолончелью—одна мольба, поднимающаяся из глубины смерти.

Я вспоминаю декабрьский вечер, когда я погрузил уста в полноту смерти, в еловый гроб, полный разлагающейся плоти, как измученная лошадь погружает морду в корм.

То, что я теперь пишу в темноте, на этих полосках бумаги, схожих с теми, на которых, при оглушающем шуме мотора, я передавал приказания и наблюдения, то, что я пишу, я бы хотел послать тебе сегодня же ночью. Я бы хотел, чтобы сегодня ночью, во время твоего бдения, ты знал, как сильно я думаю о тебе и как верю в тебя.

Но ты, быть может, не смог бы разобрать эти знаки?

Сегодня ночью опять кровать колыхнется и дрожит, как двойное крыло, протянутое между морем и небом.

Я не засну. Не могу спать по ночам.

А ты заснешь?

Ты должен спать. Завтра твоя рука должна быть уверена, взор острый, ум бодрый.

Ты должен подарить Родине новое оружие.

С тобой мы разрушим Полу. Пошадим только Коллизей, реликвии Рима и следы Италии.

Вместе с тобой мы будем господствовать над всем Далмацким побережьем. Будем угрожать Каттаро и Дураццо.

Я так страстно хочу еще увидеть тебя, еще говорить с тобой.

Не слышишь, что я зову тебя?

Если не спишь, почему ты не возвращаешься?

Сердце снова начинает биться во мне у горла.

Какой страшный мотор у меня в груди!

И не знаю, умираю ли я от ожидания, умираю ли от печали, или умираю от жажды.

Ты знаешь? Мои палачи не дают мне пить.

Они строги со мной, как ты был строг с Луижди Болонья, когда вы упали в море с аппаратом и остались в неприятельских водах, и после долгих часов бесплод-

— Офицеры привезли обратно даму под вуалью. Она как будто изнемогает. Они поддерживают ее.

Мне кажется, что у меня нет больше комнаты, нет больше кровати.

Я лежу на улице, около маленькой набережной, где пахнет гнилью после отлива.

Валяюсь, как больной нищий.

Моя голова перевязана, не знаю с каких пор.

У меня рана, которую никто больше не развязывает и никто не лечит.

Нет ничего на свете более печального, чем эта маленькая набережная, откуда бедная подруга умершего отправлялась на последнее свидание с ним и куда вернулась после прощания.

Она должна была покинуть те комнаты, в которых они жили вместе со своими верными псами. Она вдруг стала никому не нужной, приютилась в каком-то доме в Кампо-Сан-Маурицио, поблизости. Она одна, нищая, безо всего.

Что она делает в этот час? Она не может быть около своего друга. Тело его лежит в Сант-Анне в той же мертвецкой, где я провел три ночи с Джузеппе Миральей.

Матросы стоят на часах, как тогда.

Большое морское знамя протянуто по стене.

Кто мне сказал, что лицо закрыто, потому что оно все обожжено взрывом резервуаров?

Как у Джузеппе Миральи, как у меня, и у него ранен правый глаз.

Вся правая сторона контужена, разбита.

Свечи колеблются и тают в моем мозгу, как тогда.

Я заснул только, когда уже совсем рассвело, когда завидел свет, сквозивший через отверстие ставень, и услышал, как просыпается канал со знакомыми звуками и знакомыми голосами.

В дремоте все время чувствовал, как колыхается кровать, а внутри меня стучит больной мотор.

Поздно. Дремота не принесла мне облегчения. Чувствую себя усталым и разбитым. Рот так сух, что мне трудно выговаривать слова.

Тревожное сердце скачет и ускоряется безумными порывами. Сиделка меняет мне компресс и повязки. Ее руки дрожат.

— Кто причаливает к берегу?—спрашиваю ее.

Моторная лодка стучит, приближаясь. Шум оглушает. Стекла звенят, и стены сотрясаются.

— Пойду, посмотрю,—говорит она.

Выходит. Возвращается.

— Два морских офицера вышли из моторной лодки и направляются в Сан-Маурицио.

Стук продолжается. Я страдаю от него каждой фиброй. Я полон криков, которые удерживаю в зубах.

Прислушиваюсь. Различаю шум шагов в переулке.

— А теперь?

Женщина выходит. Высовывается из окна смежной комнаты. Возвращается.

— Офицеры сопровождают даму, закутанную вуалью. Подсаживают ее в лодку. Уезжают.

Прошло два часа.

Снова моторная лодка останавливается у берега и сотрясает дом своим стуком.

Расспрашиваю сиделку.

Она выходит и возвращается.

страну, изборожденную высохшими руслами, ожидающими внезапного наводнения. Русла слез бороздили щеки до самого подбородка. И казалось, что с минуты на минуту они должны наполниться.

Сегодня ночью он один в море, потерянный в глухой беспредельности.

Может быть, миноноска с потушенными огнями проходит над ним.

Он вспух. Соль раз'едает его ожоги.

Вижу эту несчастную ларву вдоль стены и холодное тело, несомое течением.

Луиджи Брешьяни покоится на погребальном ложе под покровом.

Сноп моих цветов лежит на его сложенных ногах.

Плеск воды о мостик, который мы с ним слышали во время бдения около нашего бедного друга—он его уже не слышит.

Я проснулся от толчков взбудораженного сердца и почувствовал у правого локтя жесткую доску.

Кто принес сюда гроб моего друга? Шевелю другим локтем и тоже чувствую преграду; это не может быть ничем иным, как только гробом другого моего товарища, который всегда был у меня около сердца.

Я лежу между обоими, раскрытый. И когда утихает стук сердца, я слышу пение петуха. Дрожь пробегает в моей груди.

Слушаю. Это не модуляция четырех нот. Это стон в одну ноту, то протяжный, то короткий. Ухо с трудом узнает его.

Петух этих берегов печальнее петуха Ланд, которого слушал Дезидерио Мориар в песках крайнего Запада.

Вижу, как бедное осиротевшее создание непрерывно скользит по переулку набережной вдоль ветхой стены сада.

Она идет, идет без конца.

Это тень, которая трепещет на кирпичной стене, темной, как запекшаяся кровь.

Мне всегда чудилось что-то зловещее в этой маленькой зеленоватой набережной с того вечера, когда старая гондола так долго ударялась о ступеньки, обнаженные отливом, покрытые плесенью, как края помойной ямы. Ступенька стала такой высокой, что нельзя было взобраться на нее.

В одно январское утро, серое и сырое, выйдя из дома, я услышал голоса женщин, склоненных над каналом. Я спросил, что они делают.

Они топили пятерых котят, родившихся ночью.

Принесли их в передниках и бросали одного за другим в воду. От узенького переулочка, от пустыря с колодцем, обнесенным стеною, веяло преступлением.

Тень несчастной никогда не отстанет от стены.

Камень орошен слезами, потоком слез.

Где Роберто Прунас в глубокую ночь?

Куда течение унесло его труп?

Вот, ночное течение повернуло ко мне и несет его мне между двумя волнами.

Вижу его смуглое зеленоватое лицо, которое кажется постаревшим от двух глубоких морщин вокруг тонкого рта.

У него было лицо сардинского пастуха с глубокими следами тоски и размышлений. Он любил иронию, порой шутку, но склад его лица был похож на

Я спрашиваю:—Теперь отлив?

Сиренетта подходит к окну и, может быть, смотрит на каменные ступеньки, которые поднимаются к саду Корё. Последние пять ступенек, наверное, зазеленели.

— Да,—отвечает она.

И зеленоватый запах сырой могилы проносится над ее головой, прежде чем коснуться моего сердца, переставшего биться.

Сколько дней еще до страстного четверга?

Когда замолкнут эти безжалостные колокола? В них для меня звучат только прощания, только раслуки, только расставания, отречения, приговоры.

Они уносят у меня все то нежное, что еще может родиться во мне, все то во мне, что еще может казаться подобным тайной мечте.

Предаюсь ли сну—звон колоколов похищает его у меня и рассеивает.

Предаюсь ли надежде—звон колоколов отнимает ее у меня и разрушает ее.

„Я сделаю это“.

„Ты этого не сделаешь“.

„Мне удастся это“.

„Тебе не удастся“.

„Обрету снова силу, волю, мужество“.

„Ты ошибаешься, ты обманываешься. Твоей сказке конец“.

„Тогда я хочу умереть“.

„Умрешь, живя“.

И вот, равномерный, бесконечный звон давит и растягивает мою печаль, как скалка тесто.

Слышу глухой стук, который уже не стук моего сердца.

Это тело, которое ударяется о ступеньки набережной, почти на уровне мостовой.

Час прилива.

Вчера вечером человек, отвозивший в госпиталь Сант-Анны похоронный венок, видел, как вернулась в Арсенал лодка водолаза, не нашедшая тела.

И вот тело Роберто Прунас ударяет о набережную. Я весь леденею.

Он хочет быть с нами тремя. Он хочет, чтоб я любил его, как тех двух.

Окно открыто. В воздухе стоит что-то глухое.

Сквозь повязки вижу слабый рассвет, по которому проходят темные тени, как закутанные женщины, ползущие на коленях.

Это маленькие фигуры, но в них какое-то непонятное величие.

Мне представляются моельщицы в атриуме дворца героев.

В глубине своей я ощущаю боль, которая следует ритму этой процессии, загибающейся справа налево.

Мне кажется, что понемногу моя грудь тяжело опускается, и у меня нет сил поднять ее моим дыханием.

Кладу руку на сердце и не чувствую его биения. Пульс медленный, почти прекратился.

Посреди неба звонит колокол, окутанный лиловым облаком.

Звук окрашивает мое лицо, которое склоняется, словно погружаясь в лоно рыданий. Легкие шаги замирают в нерешительности на пороге, как если бы мое молчание было дремотой.

Кровь густеет все более и более. У меня является желание взбить ее, как молоко в маслобойке веселочкой или же сухими костями моих собственных рук.

Возвращаются лиловые призраки.

В глазу у меня аметистовый лес. Со всех сторон прилетают стаями птицы и садятся на неподвижные ветки.

Первые птицы — желтые, как канарейки. Потом цвета их и породы размножаются до бесконечности.

Вспоминаю прелестный этюд, который рассказала мне, накануне битвы на Марне, жена начальника отряда Тевенэн, пока я прибывал знамена к шестам своей конуры.

В марсельский порт прибыло несколько пароходов с птицами с островов, предназначенными для европейских рынков.

Торговцы, не имевшие надежды сохранить их, открыли все клетки. В течение нескольких дней весь город был ослеплен этим множеством разнообразнейших летающих самоцветных камней; высаживающиеся на берег колониальные войска, проходя по улицам, поднимали вверх свои темные лица, с детским выражением изумления при виде нового чуда.

С Альп и с Карсо солдаты посылают мне цветочки, сорванные в окопах, или листья лавров, сорванные в разоренных садах.

С моей родной земли Абруцци суеверные женщины посылают мне мешечки целебных трав и баночки с мазями.

Ветераны Марны и Вердена посылают мне, на военном жаргоне, те грубовато простые братские слова, которые подбадривают лучше всякого искусственного бальзама.

Теперь я распластан в этой постели душой и телом. У меня нет больше глубины. У меня нет больше выпуклости. Нет у меня вчерашнего дня, нет завтрашнего. Умираю, живя.

Мне снилось, что я складываю свою плоть, как бесцветный плащ.

Потом мне снилось, что я ее разворачиваю и вешаю на гвоздь, торчащий из бесцветной стены.

Засыпая сегодня утром, я почувствовал, как сквозь пальцы у меня пробегают золотые нити, похожие на те, которые Тициан воткал в кожу женщины, изображающей небесную любовь, и в одежду той, которая изображает любовь земную.

На конце пальцев у меня было како-то мерцание ясновидения.

Рената и Веньер ложатся на ковер по сторонам моей кровати, навзничь. Оба кладут руку под голову, подражая моей привычной позе во время сна.

Они молчат, но я их слушаю.

Слышу подавленный вздох Сиренетты.

Окно закрыто. Затишье и в воздухе, и во всех созданиях.

Моя жизнь льется через край. Она переливается в обоих по одну и по другую сторону, как вода в фонтане, спадающая с одной статуи на другую.

Вижу извилины своего мозга, ясно, как на физиологической таблице для учащихся.

Различаю все разветвления сосудов.

Мое тело прозрачно. Скелет в нем виден так же отчетливо, как смерть на рисунках Альбрехта Дюрера. Могу сосчитать ребра и позвонки. Тонкая сеть нервов имеет цвет ржавчины.

Четыре стены и четыре доски мои наполняются той самой печалью, которая тогда наполняла для меня весь наш старый дом и внушала мне внезапное желание бежать или покончить с собой.

Покончить с собою мне хотелось, когда по всему дому раздавались дикие крики жирных свиней, которых резали во дворе, наполняя кровью подставленные лоханки. Ужас гнал меня из одной комнаты в другую. Жизнь пугала меня, как будто преследовала меня с ножом в руке. Я спасался в угол, лицом к стене, закрывая рот судорожной рукой. Рыдания трясли меня всю ночь. На другой день я был бледен, как если бы мне вскрыли вену на шее.

Почему возвращается ко мне из такого далека это искушение сразу избавиться от всякой жестокости и всякого ужаса?

В потухшем глазу или в воспаленном мозгу читал у меня окулист, вооруженный своим диском с отверстием и зеркальцем?

Он хмурился сурово.

Сегодня ветреный день.

Слышу, как гондолы ударяются о пристань и скрипят. Слышу протяжное завывание канала. Слышу обрывки голосов, уносимых ветром.

Ветер проникает и в закрытую комнату. Дверь все время стонет.

„Иду. Кто зовет меня?“

В маленькой комнате, где вчера мой военный квинтет играл старинную и новую музыку, сегодня спорит квинтет врачей.

Талисманы из всяких веществ и всяческих форм накаплиются на краю моей кровати, и каждый из них заключает в себе то сокровенное чудо, которое раскрывается только вере.

На заре мне снилось, что моя мать склонялась надо мной с помолодевшим лицом и снимала с меня повязку, и открывала мне веко, успокаивала его своим дыханием, потом прикоснулась к нему устами.

Я был исцелен. Ко мне вернулась полнота зрения. Глаз мой стал снова ясным и прозрачным, как при пробуждении в дни юности.

Иллюзия была так ярка, что я в трепете приподнялся на локте. Я поднял ослабевшую повязку, высохший компресс. Закрыв левый глаз. Увидел вновь паука, черного и неподвижного.

Моя мать не знает, не понимает. Она также погружена в свой мрак.

Но вот уже несколько дней, она посещает меня с лицом, менее искаженным, с лицом, которое я видел у нее перед изгнанием.

Она приносит с собой обрывки далекой жизни, такие живые, что я могу почти осязать их. Приводит иногда с собой кого-нибудь из домашних.

Привела ко мне Рафаэле, рабочего, который умел подражать пению перелетных птиц и из кости, тростника и кожи устраивать всякого рода приманки.

Рафаэле приносит мне живую перепелку и воспоминание о той жалости, которую мне внушали перепелки, заключенные в низенькие деревянные клетки, о крышки которых они ударялись головой до того, что сдирали кожу до кости.

Слышу вновь их непрерывное метанье. Вижу эти маленькие оголенные черепа, эти окровавленные клювы.

Этот глупый дрозд, как он мне надоедает!

Поет весь день, никогда не разнообразя свою скучную песню.

Он кажется мне одним из бесчисленных моих судей.

И кто на свете был когда-либо больше судим и больше осуждаем, чем я?

Я вижу червей, собравшихся судить разлагающиеся останки.

Один из моих товарищей по войне с горечью сказал мне раз в прошлом октябре, на мостике через Изонцо около Градиски:—Если бы судьба дала мне умереть так, чтобы люди уже не могли судить меня.

Прошлую ночь мне снилось, что взрыв гранаты оторвал мне ноги, руки и ранил другой глаз. Я был окровавленным обрубком, орошавшим собою камни в Карсо.
„Судите меня“.

Когда душа прекрасна, для нее нет иной радости, как отдаваться беззаветно.

Но когда же любовь перестанет причинять мне боль?

Я видел в один из дней моего далекого детства, в родной земле Пескары, на окраине какого-то поля, кусок хлеба, положенный на межевом камне.

Никто из проходящих не брал его.

И я не взял его.

Я снова неподвижен, с чем-то размякшим во мне и вокруг меня, будто лежу навзничь в тине на дне болота.

Влажность компресса, который лежит у меня на глазу, понемногу пропитывает всю повязку, которой обернута моя голова.

Их пятеро, как пальцев на руке, которая нащупывает во мраке.

Я слышу их голоса сквозь дверь, где, затаив дыхание, подслушивает моя судьба.

Никогда я не страдал так от человеческих голосов, как в этот час. Смутно доносящийся спор подобен оружию пытки, действующему на расстоянии. Мое живое тело вытягивается и пронзается различными способами, то медленно, то порывисто, смотря по интонации голосов.

Но есть один голос, самый пронзительный и самый безжалостный, который мне распиливает ребра одно за другим и сдирает мне кожу на груди.

Другой, когда он вступает в отвратительный концерт, кажется мне отточенным инструментом, который каждый раз как бы принимается за вылушивание глаза и потом бросает его.

Когда же будет конец этой пытке?

Вот, я слышу, как зловещий квинтет разражается хриплым смехом, почти в унисон.

Мой несчастный глаз тут, на столе, рядом с пепельницей, как один из тех искусственных раскрашенных анатомических образцов, с которых, из года в год, сторож стирает пыль и которые профессор, читая лекцию скучающим студентам, вертит в руках.

Беглый солнечный луч пронизывает желтую склянку с атропином, освещает вату, свернутую как огромный кокон, скатанные бинты, стакан, в который Сиренетта поставила самую красивую розу сегодняшнего утра.

Дрозд щелкает так громко, как будто сидит на подоконнике.

Сиделка говорит, что все кусты роз в саду покрылись листвой и бутонами.

Дождь оmyвает нежную зелень.

Гиацинты склоняются к земле, некоторые стебли ломаются, и сок вытекает.

Мне кажется, что он у меня между пальцами, липкий, как сок омелы.

После пытки того вечера образ этого цветка странно отражается в моей чувствительности.

Дождь сносит землю вокруг растения и луковица обнажается, жемчужного цвета, как белок глаза.

Слышу шаги, поднимающиеся по лестнице.

Слышу голос Сиренетты.

Чувствую ее приближение, как вода чувствует полет птицы, которая, темная, отражается в ней вечером.

Она приводит ко мне молодого авиатора из Сант-Андреа, милого товарища, того самого, которого я называл своим оруженосцем, потому что он помогал мне перед полетом надевать меха, обувь, перчатки, шлем.

Он подходит к моей постели с бесконечной осторожностью.

Может быть, входя со света, он не может разглядеть меня.

Он близок к изголовью. Чувствую, что дрожит. Опускается на колени.

Слегка поворачиваю к нему незавязанный глаз.

Его лицо почти на уровне моего.

Различаю на его плече коронку и золотые звезды.

Различаю его волосы, подстриженные над ясным лбом.

Он взволнован. Ему, вероятно, прежде всего бросились в глаза мои белые повязки.

Он берет мою руку и что-то тихо говорит.

Должно быть, дует восточный ветер. Слышу ровный дождь на окошке ванной, и падающая от времени до времени капля отбивает такт в этой монотонности.

Мне кажется, что я вижу пузыри дождя на поверхности стоячей воды, в которой я живу.

Все серое, холодное, тяжелое.

Тоска и в подушке, и в простынях, в моих костях, в звуках, которые слышу, в свете, который мне виднеется.

Мысли, печаль, терпение, отвращение, уныние, ожидание—все приобрело свойство этих сыроватых бинтов, согревающихся от моей теплоты.

Страшная жизнь глаза угасла. Демон огня уже не обитает в сетчатке. Мой мозг видит только голубоватый пузырь, сделанный уколом иглы, как показал мне его доктор, еще вчера, в своем круглом зеркале.

Пузырь вздулся вокруг обесцвеченной радужной оболочки, в которой расширяется нечувствительный зрачок. Струйка крови и слез течет из разреза безжизненных век.

Душа хотела бы подуть на боль, как дуют на уголек, чтобы разжечь его.

Оплакиваю пламенную искрящуюся слепоту.

Направляю все внимание на мое распростертое тело. Пробегаю от затылка до ног, чтобы поискать, не осталось ли в нем хоть немного жизненных соков, живой еще узел, из которого может выйти росток.

Ноги там внизу далеки, чужды мне, как калек с отмороженными ногами, подобные тем, которые мы видели в альпийских госпиталях, когда нож хирурга работал без усталости.

Теперь мне кажется, что моя воля не может передать движений мускулам сложенных вместе больших пальцев.

Другой дельфин прыжком своим обломал край левого крыла. Миноноска пришла к нам на помощь и на буксире привела нас в Маламокко.

В моем сне кровать моя колыхается, как самолет на высокой волне.

Мне вспоминается внезапное отвращение, охватившее меня однажды в юности, когда я, плавая в Адриатике, вдруг увидел, как из воды высывается темная спина дельфина, на расстоянии нескольких локтей от моей голой груди.

Глаза мои горят, как бывает, когда морская пена бьет в лицо.

Ощущаю вкус соли во рту, сильнее, чем вкус стали. Я остался один.

Компресс высох, и бинты не держатся. Глаз слезится, раненое веко жжет.

Тупой жар охватывает всю мою голову. Глухая злоба против своего тела, от пят и до горла.

Рука моя поднимается, чтобы сорвать повязки, отбросить в сторону простыню.

Терпение извивается, как наказываемое животное.

Брови словно из колючек. Бездушные слезы стекают к иссохшим губам.

Чувствую свою волю не в себе, но над собой, как бы отточенное лезвие одинаковой длины с моим послушным телом.

С каким-то тяжелым ощущением я думаю о колодце розового веронского мрамора, который стоит в середине моего дворика. На дне его была плохая вода, и дощатая крышка сгнила и развалилась на куски. Власть залили ему рот известкой. Теперь дворик больше не дышит. И его молчание теперь — молчание не прикрытых, но запечатанных уст. Отсюда чувствую, как он страдает.

От него пахнет морем, ветром высот, воздухом, которым дышишь при полетах.

Возвращается ли он с полета? Быть может, его длинные руки только что оставили руль?

Он рассказывает мне, что вчера пытался лететь на Полу. Приблизительно в тридцати милях от берега порча одного из цилиндров заставила его спуститься на море. Так как ему не удалось поправить его настолько, чтобы можно было возобновить полет, он попытался приблизиться к берегу, скользя по воде.

Море было покрыто легкой зыбью. Со всех сторон горизонт казался пустыней.

Вдруг в следе, оставляемом аппаратом, появилось что-то черное и блестящее. Там и сям около крыльев сверкнули другие всплески. Изогнутая спина перерезала путь впереди. Морской танец сопровождал скользящий самолет.

Это была стая дельфинов. Их всплески и прыжки не только шли следом, но от времени до времени зацепляли руль и крылья, угрожая сломать хрупкую машину.

Юноша склонил ко мне голову, чтобы увидеть мою улыбку, и приблизил свое свежее улыбающееся лицо к улыбке моего сухого металлического рта.

Создается новый миф. Дельфины, друзья человека, пляшут не вокруг корабля Ариона, не вокруг трупа Икара, поддерживаемого остовом крыльев. Икар скользит по воде низким полетом, как чайка, преследующая плывущую добычу.

— Чтобы защититься, мы принуждены были прибегнуть к пулемету, — прибавил авиатор, смеясь. — Но вдруг винт лопнул. Струя горячей воды ударила мне в лицо. Дельфин прыжком сломал одну из лопастей. Мы не могли больше двигаться, но берег был в виду.

Я томился сухостью, как некоторые местности римской кампании, когда почва трескается и испаряет лихорадку.

Мой рот, всегда открытый, был похож на одну из этих трещин, жесткий и сухой, как вулканическая почва. Был сведен терпким металлическим вкусом иода, лишен человеческих свойств. Поистине пещера запустения, он болезненно трескался при каждом судорожном усилии горла, чтобы увлажнить его.

Сгустившаяся кровь, насыщенная ядом, заливала сердце, которое напряженно отталкивало ее со смертельной тоской.

Я видел сверкающую белизну моих костей, как скелет, брошенный в песках пустыни.

Мне вспоминались те маленькие растения Аравийской пустыни, которые, напившись ночной росы, расцветали кратко на заре, прежде чем ранит их жгучее солнце, когда я развязывал путы моего коня Эль-Нара, который обкусывал их своими мягкими губами.

Теперь, вот, я испытываю краткое наслаждение этих растений и их предрассветное блаженство.

Я напился, мне разрешено пить.

Вода проникает в меня через все фибры, разливается по всему телу, как свежая лимфа в сухом дереве.

Я орошен.

Свежесть проникает до корней.

Все во мне оживает в глубине.

Поднимаю голову, как если бы шея была ожившим стеблем.

Но рука, ласковая и тираническая, снова опускает ее.

Эль-Нар, гибкая стремительность пустыни, товарищ моей безбрежной свободы!

Сиренетта напоминает мне образ дальнего Востока, который был дорог моим усопшим.

Женщина выходит поутру из дома, чтобы зачерпнуть воды, и видит, что вьюнок за ночь быстро обвился вокруг влажной веревки и расцвел. Возвращается домой и говорит: „Вьюнок захватил веревку, — кто даст мне воды?“

Я сижу там, в углу, на циновке, когда она входит.

Слышу звук пустого кувшина, поставленного на пол.

Мелодичный голос служанки, еще склоненной над ним, освежает мне горло, как вода, зачерпнутая под таинственной сенью.

Я был тоже там у порога ясным вечером, когда женщина вышла из дома, чтобы выплеснуть воду из ведра, в котором она стирала белье. Хотя ей было тяжело, она шла легкой походкой, босыми ногами по лугу, и ее одежда не шуршала, развеваясь при движении.

Посреди луга она остановилась. Хриплая песнь насекомых поднялась от земли. Вся трава была полна звуков и сверканий.

Мне виднелась пятка одной из голых ног, освещенная ночным огоньком.

Женщина стояла неподвижно, прислушиваясь, с ведром на голове.

Повернулась и направилась обратно к порогу, походкой еще более осторожной и легкой.

Вернулась в дом. Молча поставила ведро неопорожненное.

В течение долгих недель мое тело было осуждено на тягостное потение, — его высушивали, томили жаждой, жила за жилой, фибру за фиброй.

тени на солнечный свет—вылитым из горячей бронзы с примесью меди. Но тревожный трепет его нервной жизни и горячая пульсация его крови слишком мало соответствовали сравнению с металлом.

О Эль-Нар, ты—покорная молния моего воображения, ты—носитель моего одинокого блаженства, возможно ли, что от тебя остался лишь прах? Прах, такой же горячий и тонкий, как пыль, взметаемая дыханием Хамзина?

В час разлуки я имел мужество покинуть тебя, потому что я любил тебя совершенным в безбрежной пустыне и не хотел, чтобы ты был искалечен жестокостью Запада и заперт в мрачной конюшне.

Я поцеловал тебя в звезду, белевшую на твоём лбу, и между ноздрей, горячих от твоего дыхания.

Ты склонил прекрасную шею, но твоя грива не коснулась земли, как грива коня Ахилла.

И если бы божество даровало тебе человеческий голос, ты, может быть, открыл бы мне свою скорбь и предсказал бы мне судьбу мою.

О, розы земли Азия, расцветите вновь для меня!

Я ещё молод и не боюсь пустыни.

Срываю повязки, развязываю путы, освобождаю свои ноги.

Заря любит меня. Пью росу, чтобы очистилась кровь моя от всякого яда.

Расцвет меня любит. Я срываю стебельки зелёных всходов и жую их, чтобы вернулся в сердце мое ритм целостной силы.

Я сам расчесал челку моего коня, и гриву, и хвост его. Я сам дал ему ячменя с отрубями и напоил его.

Он склоняет к моей подушке свои трепещущие ноздри, чтобы лучше почувствовать меня.

Его тонкие губы ищут ладони моей руки с такой осторожностью, что они могли бы пить из любого бокала на пиру.

Он просит у меня своей обычной горсти ячменя.

Я вижу, как сверкает в темноте белок его больших глаз, похожих на глаза восточной принцессы, удлинённые сурьмой.

Гибкий и чудесно согласованный с моею гибкостью, — во всех аллюрах мы составляли с ним одно завершённое существо. Когда, шутя, на ходу или во время остановки я слегка щекотал его бока шпорами, он опускал свою прекрасную шею и поворачивал свою пышную челку к стремени, поднимал заднюю ногу движением лягавой собаки, как бы желая избавиться от неприятности. И было столько детской грации в этом движении, что я не мог удержаться, и снова возобновлял игру.

Если бы я мог снова услышать его ржанье и почувствовать, как чудом вливается прежняя гибкая сила в это несчастное изнурённое тело!

Когда я привязывал его на красивом поводу из красных, голубых и серебряных нитей у дверей торговца восточными коврами, он издавал ржанье в минорном тоне, словно хотел сказать, что скучает и что пора мне на седло. Но как передать серебристый перелив его ржанья, когда мы, оставляя за собой пустыню, мчались во весь опор к Каиру, и в жемчужном освещении надвигающегося вечера перед нами загорались огни байрама?

Он был темно-рыжий, того оттенка, который наши старики называли металлическим. Когда он покрывался темными пятнами пота, он казался — при переходе из

„Эль-Нар, нежный товарищ, если я не отпущу тебе поводья, думаю, что никогда уже не выпадет тебе счастливой доли проскакать через розовое поле на краю пустыни“.

Сказано, сделано. Пускаю коня вниз по откосу. Прыгаю через канаву. Врезаюсь в самую гущу кустов. Слышу крики взбешенных рабочих. Вижу, как они бросают работу, хватают длинные палки и с криками бросаются в погоню за мной.

Они, конечно, рассчитывают на минутное замешательство Эль-Нара, который, уже окровавленный розовыми шипами, на мгновение поколебался, не решился сразу грудью рассечь кусты, через которые не в состоянии перепрыгнуть.

Но достаточно моего ободряющего голоса, чтобы он бросился стремглав. Он уже не чувствует уколов, не обращает внимания на препятствия.

Безумие героического юноши охватывает и восхищает его. Он скачет своим окрыленным галопом, как в вечера байрама. Ширит свой галоп, словно мчится по песчаной равнине. Оставляет за собой невероятный след божественного опустошения.

Но тут канал, там пруды, образовавшиеся от наводнения. Взбешенные люди не отстают. Оборачиваюсь на седле и вижу, как они, угрожая, размахивают длинными палками. Если не ускользну, они меня убьют, или избитого оставят на земле.

„Эль-Нар! Эль-Нар! Вот вода. Лети! Да будет мое сердце в твоём сердце!“

Измеряем канал мерою своей отваги.

Как во сне, подхваченные чарами сна, мы уже на том берегу; мы на краю пустыни, мы в стране богов и царей.

Вскакиваю в седло. Эль-Нар ржаньем приветствует солнце.

Мне позавидовал бы сам Александр, в поисках за которым я отправился тотчас после приезда вдоль полосы земли, лежащей между озером Мареотийским и Средиземным морем.

Вот мы оба, я и мой верный товарищ, слились в одно существо. И сердце вещает мне, что мы летим навстречу необычайной радости.

Миную мост Каср-Эн-Нил, проезжаю остров Ге-зирэ, перехожу второй рукав реки, поворачиваю влево, следуя по берегу, вдоль садов Гизэ. Достигнув моста Рода, сворачиваю направо, в'езжаю на дорогу к Пирамидам, по большой насыпи, окаймленной деревьями. Начинаю вдыхать воздух пустыни.

Кто идет навстречу пустыне, идет навстречу искушению.

Проехав Азиэ, с вершины откоса вижу налево плантацию роз. Вижу как бы во сне обширное поле высоких розовых кустов, кровавое и пламенеющее, как поле тех роз, шипы которых вонзались в тело св. Франциска, когда он, катаясь по ним, умерщвлял свою плоть.

Улыбаюсь внутренно, воображая, как святой неожиданно появляется на одной из дорог Египта в сопровождении целой процессии розовых ибисов, обращенных в христианство.

Наклоняюсь к гриве своего коня и говорю: „Эль-Нар, что будем мы делать с тобой?“

Садовники в длинных синих туниках срезают розы и укладывают их в корзины из морского тростника.

Сердце мое трепещет от самой чистой поэзии; и не знает, и не хочет знать, следует ли оно духу искушения или духу умерщвления плоти.

Галлюцинация принимает такую осязательность реальности, что по сравнению с ней люди, присутствующие и говорящие, кажутся пустыми призраками. И я не могу остановить ее.

Недавно, в то время, как я лежал в горячей ванне, а голова моя покоилась на натянутом полотне, лошади приходили как бы на водопой. Я слышал, как журчала вода, втягиваемая их мягкими губами.

Когда их морды поднимались, я видел, как стекала вода из углов их рта. В маленькой комнатке из полированного мрамора их фыркание вызывало резонанс, подобный звону кимвалов.

Косматый конь из Мареммы, тот, который откусил ухо у рябого капрала из Джирдженти, когда я был кавалеристом, поворачивается, чтобы бросить на меня сердитый взгляд.

Но слишком печалит меня взгляд Малатесты, моего чудного ирландского скакуна, пегого, с подрезанным хвостом, который погиб на мосту через Арно от сломавшейся оглобли тележки, возить которую он был обречен на старости лет моими преследователями.

Лошади, лошади без числа, как в Версале в первый день августа в начале войны во Франции.

Они привязаны к веревке, протянутой между стволами деревьев, сохраняющих еще следы искусной стрижки; и солома, и сено, и навоз портят вид благородных аллей.

Но на той раненой лошади, на ее покалеченном плече лежит большой букет роз; а та другая, с гангренозной раной на ноге, черной от крови и от мух, покрыта мантилией из фландрских кружев.

Королевский город превратился в город лошадей.

„Эль-Нар! Эль-Нар! Хочу поклониться тебе. Не мое сердце в тебе, в тебе сердце бессмертного Ракуша“.

Вижу большую пирамиду Хеопса. И уже не оборачиваюсь назад. Пруды ослепляют меня, как осколки обрушившегося неба. В вихре трепещет величие пустыни. Поэзия—моя окрыленная сущность. Мое дыхание—песнь, свободная от тесных оков речи.

Вижу, как из озаренных солнцем песков навстречу мне поднимается плоское лицо Сфинкса.

Останавливаю коня перед недостижимым образом Горизонта. Разрешение загадки—в моем блаженстве, которое словно поднимается с земли на небеса, когда внезапно остановленный конь взвизгивает на дыбы.

Соскакиваю с седла. Чувствую, как мои человеческие ноги погружаются в горячий песок, в то время как блаженство улетает в бездны беспредельного сияния.

„Эль-Нар, Эль-Нар, как тебя изранили жестокие розы!“

Бросаюсь на шею моему брату, окровавленному, покрытому пеной. Его разметавшаяся грива закрывает мое лицо. Чувствую под этой прекрасной львиной мантией, как все мускулы и жилы его дрожат и трепещут от боли.

„Брат мой, милый мой брат, мне хочется плакать“.

Веду его в тень. Опускаю свои пальцы в пот и кровь его. Из груди, из боков вынимаю вонзившиеся в него шипы. Чтобы вынуть шипы из его ног, наклоняюсь, становлюсь на колени в порыве преклонения перед ним.

Он склоняет голову ко мне и следит за всеми движениями моих братских рук своими большими глазами, в которых душа горит и отдает себя.

Но она тиха. Глаза ее спокойны.

Грохот вокруг прекратился. Кончился ад. Все безмолвно. Птицы не поют. Кто-то проходит там внизу по тропинке, под мелким дождем, с головой, покрытой холстом свернутого мешка. Около разрушенного дома стоит опрокинутая молотилка ногами кверху, так же, как и лошадиные трупы. Поросший травой холм имеет такой мягкий наклон, словно он выражает какую-то неведомую нежность земли. Петух на колокольне царствует над безмолвием, которое нарушается лишь мелким дождем. Изредка ветер посылает влажное дуновение. Запах смерти пресекает его дыхание.

Уцелевшая лошадь старается пастись, вытягивая шею. Она одна. Скоро стемнеет. Одинокая ласточка, беззвучно кружась, задевает ее спину.

О печаль, печаль,
из какого далека ты снова несешь мне
то, что однажды уже так томило меня?

Вот, ты напоминаешь мне и ту, которая была моей любимицей в детстве, в приволье моего родного дома, тогда, когда моя мать была задумчивым цветком в самом расцвете своей молодости на родной земле Пескары.

Она приходит ко мне из тумана моих воспоминаний такую же, как в те дни, когда она своей грудью рассекала высокую, еще нескошенную траву.

Это была маленькая сардинская лошадка. Она была гнедая с огненным отливом, белоногая, с длинной гривой и густым хвостом. Ее звали Аквилино.

В конюшне, между ее стойлом и стойлом ее пары, было пустое стойло, где мне всегда хотелось поставить свою железную кровать.

Вижу лошадей вокруг заброшенных бассейнов, зеленых от гниющей тины. Дворец кажется чем-то мертвым, невыразимо мертвым.

Перспектива большого канала уходит, как безвозвратно обезвоженный Стикс, в печаль бесконечного Ада.

Вижу других лошадей вокруг пруда, еще более печального. Их ржанье несется над водой, темной и зловещей, напоминающей мне лицо моего озера Неми, когда над ним повиснут облака.

Их водопой стоят в тени вязов, похожие на черные лодки. Тяжелый запах навоза распространяется по „усладам“ Короля.

Теперь они погибли, все убиты, истреблены без остатка.

Сражение на Марне оставило их лежащими в траве, усеянной пустыми бутылками и не взорвавшимися снарядами. Они все лежат в одинаковой позе; с раздутыми животами, с недвижно торчащими задними ногами, все они—до самого горизонта—словно делают один и тот же зловещий жест.

По бархатным лужайкам целебных трав вздутые животы, торчащие ноги, пожелтевшие десны, помутневшие глаза, стая ворон, рой мух.

И в деревнях, и в полях, на дорогах, и повсюду—убитые лошади, и ужас того места, всюду одинакового, и сверканье подков в этом иссохшем лесу, под зноем палящего солнца.

В свекловичном поле, за обломками лафетов и повозок, нахожу уцелевшую лошадь.

Она одна. Не может ходить. У нее сломан сустав, глубокая рана в зад, и другая на спине.

его радости образ мимолетного счастья, которое свойственно мне и которое порой снова мелькает передо мной и на этом ложе страдания.

Обитал ли уже и тогда во мне тот лирический демон, который поднимает и преображает меня?

Просыпалось ли уже тогда во мне магическое чувство жизни?

Как Аквилино тихонько ржал мне навстречу, так и я разговаривал с ним вполголоса. Как он понимал меня, так и я понимал его, довольный и тем, что мои ноги стоят на соломе рядом с его четырьмя копытами.

Он брал с моей ладони куски хлеба, ломтики яблок, кусочки сахара с такой ловкой легкостью, которая была как щекотка и заставляла меня смеяться смехом подавленным и судорожным, а иногда хохотать без удержу. Но я боялся двух крупных рабочих лошадей, которые не переставая постукивали деревянными шариками, подвязанными к уздечкам, и я старался, чтобы они меня не заметили.

И этот страх, и эта осторожность, и это понимание создавали понемногу в закрытом стойле какую-то фантастическую дымку. И этот взгляд черных глаз, который Аквилино, жуя, всегда устремлял на меня, и весь его вызывающий вид, с бело-розовым пятном на подвижных губах, как мордочка зайчонка, и эти его требования дрожанием ноздрей, и это сердитое покусывание моего плеча, когда я, чтобы подразнить его, прятал остатки принесенных даров за своей спиной, все эти его грациозные движения сливали мало-помалу меня с ним и околдовывали меня.

„Дам тебе еще это, если ты мне позволишь вырвать один волос, если ты мне позволишь вырвать два волоса, если позволишь вырвать три“.

Когда я мог ускользнуть от надзора, я шел во двор и с бьющимся сердцем проникал в конюшню со двора. Аквилينو, узнав мои детские шаги, ржал тихонько, как бы для того, чтобы другие не услышали и не заметили меня.

Каждый раз удовольствие было так велико, что я выпускал из рук углы фартука.

Тогда ржанье становилось дрожащим от нетерпения, и в то время, как я подбирал хлеб, яблоки, сахар, все, что составляло мой полдник, и все, что мне удавалось захватить из кладовой для моего товарища-лакомки, сам я насыщался своей улыбкой, которая была из какого-то питательного вещества, какого с тех пор я уже никогда не вкушал.

Одна из дверей конюшни выходила в каретный сарай. В сарае почти всегда было темно, так как он освещался светом, проходившим через цветные стекла полукруглого окна. Там была большая свадебная карета, обитая голубым сукном с шелковыми занавесками на окнах, с серебряными ручками на дверцах. Была коляска с верхом и двуколесная плетенка. Висели здесь также принадлежности упряжи, которыми я никогда не уставал любоваться: хомуты, нагрудные ремни, подпруги, постромки, вожжи, петли, пряжки, кольца, всегда блестящие, и длинные хлысты, предмет моих мечтаний.

Этого ребенка, нагнувшегося в темноте, подбиравшего с пола тот хлеб и те фрукты, которые он отнял от своего рта, ради любви своей, того ребенка, уже жадно ищущего своеобразной жизни и таинственных общений, замороженного этим ржаньем, как волшебным голосом, освещенного своей собственной улыбкой, как подземной лампадой, этого ребенка оставьте со мной. Дайте мне снова узнать в этом его движении и в этой

И я пошел прямо к очагу с лицом, на лбу которого уже намечалась вертикальная морщинка воли.

И я бросил всю горсть волос в волшебный огонь.

О печаль, печаль,
из какого далека ты снова несешь мне
то, что однажды уже так томило меня?

Я, мой брат и три сестры прошли в сарай, влезли в старую свадебную карету, от синего сукна которой пахло затхлостью, и одна из подушек была вся еще теплая от спавшей на ней кошки.

Дверь конюшни была открыта. Аквилино лежал в агонии на соломе. Мой отец стоял на коленях около него, между кучером и конюхом, который держал чашку с лекарством и деревянной ложкой и хныкал.

В страхе прижавшись друг к другу, мы смотрели из дверцы, без слез, со сдавленным сердцем, которое не пропускало ни капли крови, ни слезинки печали. В первый раз видели мы смерть, мы, которые никогда не думали о ней, разве только в ночь „Всех Святых“, поджидая дары, которые она принесет нам.

Я видел судорожные движения ног, и больнее другого я чувствовал судороги белой ноги, но еще больнее — трепетание бедной белой морды.

Но я не плакал, и один сдерживал горе всех пятерых.

Конюх разразился рыданиями. Свои рыдания я сдвинул в горле с каким-то презрением. Я видел, как бедные ноги неподвижно вытянулись.

Еще крепче прижавшись друг к другу, мы ледали под синим потолком кареты в полутемном сарае.

И в первый раз в жизни десятью пристальными глазами смотрели мы на смерть. Но я сохранил в себе печать ее за всех.

Помню, что мне пришлось победить в себе немного стыда и немного раскаяния в то время, как я вырывал их у него. Было ли ему больно? Знал ли он, что они мне были нужны, чтоб сделать петлю для ласточки на водосточной трубе?

Вырывать их у него меня научила сестра моя Эрнеста. Но вот, сердце болело у меня, может быть потому, что я дал ему свои дары по договору и в обмен, а может быть потому, что у меня было намерение обидеть ласточкино гнездо.

Когда я вырвал волосы, их оказалось в моем кулаке гораздо больше трех.

Вошел конюх, соучастник моих тайных шалостей. Он поднял меня и посадил на „Сардинца“.

Мне нравилось, стоя на месте, воображать, что я еду верхом. Но мне не нравилось, что на меня смотрят.

Я говорил конюху: „Уходи, а потом вернешься“.

Я закрывал глаза. Я был заколдован. Дверь раскрывалась на опушку леса. Темнело. Тропинке не было конца.

Но на этот раз кормушка осталась у стены, стена не раздвинулась, и лошадь оставалась на месте, хотя я и говорил с ней вполголоса.

У меня все еще были те волосы в кулаке, и смутная тревога в сердце.

Неожиданный крик, сверкнуло что-то белое. Ласточка ли влетела через разбитое стекло окна? Было ли гнездо под сводами конюшни?

С которых пор?

Я весь дрожал, изумленный.

Легкое перышко, кружась, спускалось по воздуху.

Я не дождался, чтобы конюх пришел снять меня с лошади. Перекинув одну ногу, я соскользнул на солому.

„Я вернусь, Аквилино, еще до вечера вернусь“.

красивой шпаги на крутых бедрах и искусства наносить удары.

Вечереет. Свет спадает. То существо, чья жалость не тяготит и которому имя Аэллис, открыло дальнейшее окно и дало мне воды в стакане с золотым ободком.

В глазу у меня пузырь овальной формы, точно другой глаз из текучего огня. Но вижу, как в зеркале отражается высокая стена, покрытая глициниями, и в глубине моего мозга моя печальная глициния снова начинает цвести.

Входит воздух. Угадываю, что он прошел под серпом луны, как сено, которое сильнее пахнет, пройдя под косой. По всему измученному телу он прикасается ко мне, трогает, как пальцы, которые бальзамируют.

Каждое мое наслаждение есть терзание.

Теперь мне хочется пить больше, чем до того, как я пил.

По всем мускулам я чувствую биение мелких фибр, как будто весь я полон хризалидами, готовыми разорваться.

Страдаю. Поднимается запах роз. Догадываюсь, что море приливает.

Страдаю. Дайте мне лекарства, которое бы меня оглушило, притупило, уничтожило.

Заставьте умолкнуть эту песню.

Вот еще одна мина разорвалась в стороне Кьоджи. Чувствую сотрясение в больном месте глаза.

Неужели муки этой моей весны звучат в переливах песни Керубино?

Одной из моих повязок, скрученной втрое, задушите его.

Молодой месяц стоит высоко в небе. От песен разлилось какое-то томление в безмолвной комнате.

Тогда мой отец встал, переступил через порог и, обернувшись к нам, остановился; и над ледяным безмолвием, которое было в моей груди, я услышал, как он произнес с выражением, которое и сейчас живо и отчетливо звучит в моих ушах и в моей душе: „Габриэле“.

О печаль, печаль,
из какого далека ты снова несешь мне
то, что однажды уже так томило меня?

О, перестаньте терзать меня.

Кто прислал мне эту истолковательницу ответов, которые моя сивилла с повязкой на глазах не дописала на летучих листках?

Она поёт, и пение захватывает мою скорбь, и делает ее текучей и прозрачной, и превращает ее в поток полный и нежный, который уносит меня туда, откуда я не хотел бы больше возвращаться.

Ее голос переходит в нижние контральтовые ноты, когда она поет вторую строфу:

О, дайте мне умереть.

Поток подобен медленному водовороту, который не идет уже по линии горизонта, а уходит в глубь, окрашенную лиловым пурпуром.

Он становится соленым.

Он погружает меня во мрак моей морской икарийской могилы.

Не знаю, кто я и что я делаю.

Она кажется юношей, но одета не как „Керубино“. Она одета по старинной итальянской моде в двухцветную одежду. На ней бархатный берет, который напоминает мне Пизанелло, и ей недостает только

Смутный шум доносится от бассейна Сан-Марко. Возвращается ли это маскарад со своими мантильями, своими треуголками, капюшонами? Не появятся ли сейчас наверху лестницы слуги в париках, с золочеными фонарями?

Слушаю. Жду.

Приподнимаю повязку, и глаз, устремленный на луну, мне кажется еще более недужным.

Сердце трепещет. Шум приближается. Узнаю военную песню.

Она разносится теперь по всему каналу. Закрываю веки. Хор алеет в моем внутреннем видении.

Поднимаюсь, наклоняюсь к окну. Вижу три больших баржи на буксире у паровой лодки. Они нагружены рекрутами, которые кричат и поют, направляясь в далекие окопы.

Это груз Родины, груз плоти и крови, более прекрасный, чем те плоды с берегов и островов, которые разгружаются у Понте Риальто в глубоких корзинах.

Крики новобранцев сотрясают дом, как грохот пушки.

Внезапная сила стягивает мои нервы. Встаю, приклоняюсь к створкам окна, прикладываюсь лбом к холодному стеклу. Дрожь глубокого волнения охватывает меня.

Поднимаю повязку и смотрю обоими глазами, еще больше раненым глазом, на груз крови, который проходит, оставляя за собой в мертвой воде сверкающий след.

Сиделка настигла меня. Снова уложила меня на подушки.

Луна блесит сквозь хрусталь и забрало моих слез, появившихся, может быть, от раздражения век или, мо-

Вздохи Керубино остались в складках полинявших гардин.

Я просил открыть ставни. Лежу около окна. Свет льется на мои руки и делает их еще более бледными.

Приподнимаю повязку и вижу лицо месяца сквозь волосатые лапы паука, который притаился в моем правом глазу.

Вечерний ветер упал. Сад неподвижен, но свет так силен, что можно отличить более молодую листву от той, которая уже потемнела. Вижу у подоконника, как блестят листочки, будто покрытые воском.

Балюстрада, вазы, каменные амуры белеют, как снег.

По ту сторону канала дворцы знаменитых красавиц молчат, покинутые. Все окна палаццо да Мула закрыты, обезглавленный дом Коре более чем когда-либо похож на заколдованные развалины. Над бассейнами, покрытыми ковром дикого винограда, возвышаются кипарисы.

По этой лестнице, теперь покрытой бархатной тенью, в летнюю лунную ночь, которая кажется такой отдаленной, спускались маски, под предводительством белого Арлекина с голубым попугаем на плече, а через плечо была у него перекинута одна из тех маленьких пантер, которые на Кифероне во время ночной оргии сосали грудь Менад, наполнявшуюся прилившим внезапно молоком.

О Фантазия, как смело ты играешь временем и расстояниями!

Мне кажется, что я как будто вижу, как на лестнице полуразрушенного палаццо белый Арлекин, нарисованный извращенным и утонченным искусством Лонги, поднимает край маски, чтобы съесть три зернышка гранаты Персефоны в Аиде.

то расправляются. Все еще не миновала опасность, что ради спасения другого глаза придется вынуть больной.

Но пока он продолжает впрыскивать в него своей иглой соленую воду, как будто наполняет аквариум. И не ведает о тех чудесах, которые он вызывает.

Сегодня в глубинах морская жизнь поразительна.

В моей сетчатке образуется морская бездна, пучина океана с другой планеты, где мне являются очертания неведомых форм и краски, не виданные ни в одном спектре.

Что значат сирены, и тритоны, и nereиды, все вымыслы Нептунова мифа по сравнению с этими неопи-суемыми созданиями, которые населяют бесконечные мои сады из кораллов, каменные ограды гигантских полиповых сооружений?

Что значат изогнутые дворцы и извилистые лабиринты сказок по сравнению с этими скалами из янтаря и берилла, изогнутыми в круг, среди которых цветут живые созвездия актиний?

„Первым ваятелем-богом из девственной первичной земли, из самой себя происшедшей, была создана форма первого человека“.

Ощущаю запах влажной и жирной глины; в этих словах, которые приходят мне на память из какого-то пыльного фолианта.

В глубине моего глаза живет бог-ваятель, и есть в нем неиссякаемая пластическая масса: первичная земля.

Теми же невидимыми пальцами всемогущий придает выпуклость, сглаживает, создает и пересоздает, творит из неведомого и в неведомое претворяет.

Безымянные и бесчисленные мастера Египта и Мидии, цехи гончаров, украшавших вазы и стены, средне-вековые строители готических зданий не изобретали и не

жет быть, похожих на те, которые вызвала во мне дивная музыка.

Шум рассеялся. Безмолвие и лунное сияние сливаются в одно тоскливое чувство.

Запах ирисов, которые кто-то нарвал для меня в садах Джудекки, становится мне вдруг невыносимым.

Чтобы избавиться от ужасных образов, я вызываю в своем воспоминании увенчанные прекрасными лиловыми цветами тосканские стены вдоль белых улиц, по которым проезжает сонный возница, убаюканный апрельской истомой.

Запах душит меня. Вижу сгнившие венки на могиле моего погибшего друга.

Вижу, как светятся его мягкие белокурые волосы там, где, может быть, все уже потеряло форму.

Вижу возле могильного холма римскую колонну, воздвигнутую над черепом другого, мною любимого. Золото Икарова крыла сверкает во тьме под рукой, напряженно вытянутой силою бессмертной воли.

Тело Роберто Прунас, вздутое и белесоватое, остановилось у минного заграждения. Оно повисло и качается, разлагаясь в своем балахоне, как в мешке.

Никто не напишет на этой морской могиле его имени.

Море поднимается, море отливает, луна восходит и заходит.

Но сон и сегодня ночью для меня такое же неумолимое божество, как его черный двойник.

Хотя строгость горизонтального режима ослаблена, однако скучное лечение не прекращается. Доктор исследует напряженность закрытых век сложенными вместе вторым и средним пальцами. Его брови то хмурятся,

Данте не знал Эсхила. Если бы певец Капанея знал трагического поэта свирепых Эринний, где бы поместил он его в своем Аду?

Подмостки из столбов, досок и колес, на которые поднимался Микель Анджело, чтобы разрисовать свод Сикстинской Капеллы, встали передо мною во сне.

Я коснулся чуда своими ресницами, дотронулся до него своей рукой.

— Это чудесный материал, — сказал Франческо Франча, щупая статую папы Юлия. И Буонарроти рассердился.

Произведение Титана прекрасно, как крыло бабочки.

Если его рассматривать вблизи, во всех его частях и в целом, оно имеет цельность совершенства яичной скорлупы, непрерывность, подобную сплошной гладкости слоновой кости. Это одно из самых прекрасных произведений в мире, рожденное целиком в мощном мозгу человека, как те драгоценные камни, которые древние резчики считали рождающимися в голове некоторых редких животных.

О, пряди волос могучих Сивилл!

Кажется, что медлительности веков не хватило бы на то, чтобы создать ценность одного фрагмента зарисованного им замысла; а Микель Анджело создал его один целиком и должен был выполнить его в короткие часы, изготовив сам и краски, и оборудовав своими силами всю технику дела.

Мазки видны. Они меня глубоко волнуют, как будто это следы, оставшиеся после сражения, в котором победа одержана метанием мысленных стрел.

Свод был плохо освещен. В какой трудной позе приходилось писать художнику, известно из его колючего сонета к Джованни да Пистойя.

запечатлели в веках столько образов, сколько в одну ночь совмещает в себе маленькая сфера моего больного глаза.

Пластическая масса от времени до времени освещается молниями прозрения, сглаживается порою мелодией извилистой реки.

Что видит доктор чрез свой диск с отверстием, когда он исследует мой расширившийся от капли зрачок?

Дивные откровения таятся в человеческом глазу, подобные невидимым формам кристаллов в нетронутых рудниках.

Глаз индуса, египтянина, халдея, перса, этруска, эллина, глаз самого Моисея—надеялись в знаках вселенной прочесть происхождение мира.

Новая космогония будет прочитана глазом в глазу, который есть мистическое окно творческого мозга.

Et remotissima prope.

Что это за титанические явления на архитектурных фонах высеченных и нагроможденных скал?

Эсхил ли это возвращается ко мне с утерянной своей трагедией огненного Прометея?

Я хотел, чтобы она была представлена при наступлении ночи в честь и в угоду отрокам-факелоносцам.

Далекie образы утерянных трагедий Эсхила, в глубоких размышлениях восстановленные моим воображением, встают передо мною среди грандиозных катастроф и событий в такой величии, что у меня вырываются крики изумления и восторга.

Вот морской Главк,
Вот трилогия Ниобеи,
Вот трилогия Фиванская,
Вот Пастырь душ,
Вот рок Иксиона, рок Сизифа.

То, что я чувствовал, я не умею ни сравнить, ни обозначить, даже если бы представил себе зарю, внезапно родившуюся из потока духа и осветившую плоть.

Я был юношей из Прато, был другом Бизенцио.

Стоял апрель, как сейчас. Была Пасха.

Я шел по поросшему травой высокому берегу Аффрико, держа за руку „совершенную деву“, которой было, так же как и мне, шестнадцать лет, и которая носила как венок свое прекрасное тосканское имя, не раскрытое в той алкеевой строфе „Canto novo“, полной серебристого шелеста ивы.

Каждый шаг увеличивал нашу безмолвную радость.

Но она увидела издали свою мать, которая, разыскивая нас, шла нам навстречу, и сказала мне это.

Тогда мы остановились, и оба задрожали, как ивы; и нам показалось, что внезапное пламя румянца поднялось к нашему лицу от самых пят, и даже ниже их: из целомудренной стыдливости самой весны.

Но возможно ли в сновидении вернуть из далекого прошлого пламя румянца и превратить его в такое радостное ликование крови?

И зачем я проснулся?

Прошу одного из музыкантов, чтобы он показал мне свою виолончель. Он осторожно приносит мне ее, со скромной улыбкой.

Этот Альбергини—прозорливый охотник за инструментами по горам и долам. Когда он слышит о скрипке или о виоле, которая где-то скрывается, как иные охотники слышат о кабане или о зайце,—он отправляется на поиски и не возвращается, пока не найдет ее.

Эта его виолончель—работы Андреа Гварнери. Ему удалось найти его в Египте, в Каире.

У него не было картонов. Чем же он руководствовался?

Вот она—эта гигантская рука бога отца.

Как удавалось ему соразмерить с ней величие остальных частей, в то время как с кисти капала краска на его лицо, и скрюченные колени прижимались к подбородку?

Когда он рисовал голову Адама, ноги фигуры были внизу, далекие, как мои, когда, под действием ядов, я утрачиваю ощущение своего тела и безмерно расплываюсь.

Не думаю, чтобы в борении духа являлось еще когда-либо пламя, подобное этому.

Инстинкт прозрения непрерывно сопровождал его работу.

Если верно, что в Сикстинской Капелле он был не на месте, то верно и то, что он не был живописцем, как он признался сам в стихах к своему Джованни.

В груди этого чернорабочего растирателя красок и грунтощика, в его „грудь Гарпии“ жило вдохновение его пророков и сивилл, и на морщинистом челе непрерывно вспыхивали зарницы горы Фаворской.

Он работал только вдохновением и чудом. И ручка его кисти была не иное, как волшебный жезл.

Я отломил ногтем и унес осколок драгоценного вещества, кусочек скорлупы, и теперь я хочу вделать его в железное кольцо, чтобы сделать из него героический дар моему недремлющему духу.

Где резная гемма, достойная сравниться с ним?

Никогда не было мне так жаль просыпаться. Конечно, этот сон мне был послан архангелом, носящим мое имя.

Нисходит ли с высот экстаз к блаженным, или поднимается он в них из глубин?

А в Феррари я видел другого Страдивариуса под стеклянным колпаком. Это был один из первых, типа Амати. Почти все его дерево обратилось в прах, и только сила политуры удерживает его в целости. И я помню, как я боялся дышать, стоя перед реликвией.

Кто может сказать что-нибудь достоверное относительно лаков? Какой лучше: красный, желтый?

Чтобы быть столь несокрушимым, он должен заключать в себе брильянтовый порошок.—

Моя рука лежит на плече виолончели, между тем как артиллерист, сидя, поддерживает ее за гриф. И то, что он говорит, кажется, что проходит сперва через чувствительность струн и дерева и потом уже достигает моего уха.

— Есть какая-то таинственная связь между строением человека и инструмента. Есть определенная связь между здоровьем музыканта и качеством звука.

Прежде на виолончели играли без подставки, придерживая виолончель сжатыми шиколотками. Движением ног можно было умерять ту вибрацию, которая дошла бы слишком сильной до резонирующей деки.

Кость—проводник звука. Кажется, что кости хорошего музыканта должны быть наполнены скорее воздухом, чем мозгом. Берцовая кость и бедро производят постоянное влияние на звук. Каждая нота может быть исправлена умелым нажимом. Например, ми бемоль в четвертой позиции дребезжит. Искусный музыкант может исправить это ногой.

Большое значение имеет также и смычок. Смотря по роду смычка, звук более густой или менее. Между деревом смычка и деревом инструмента не может не быть жизненной связи. Волокно дерева, не подвергавшееся огню, немедленно передает намерение руки. Вот нервный смычок „Tourte“ с восьмигранной палоч-

Я улыбаюсь при мысли, что у меня в руках нечто такое же чистокровное, как Эль-Нар, и что оно похоже на моего коня также и по масти.

Лак на ней совершенно неповрежден, красивого красно-коричневого цвета, сквозь который просвечивает золото фона. Золото просвечивает более на спинке, полосами, пятнами, и тут, и там на боках, отливающих янтарем. Сзади ручка побелела от трения скользящей руки. Но середина нижней деки—чудо грации: райская птичка отразила на ней сокровища своей грудки, и образ ее сохранился навек под нетленным лаком.

Музыкант рассказывает мне, что он в Каире произвел обмен со своим товарищем, у которого короткая рука, и дал ему маленького Гальяно.

Тот купил эту виолончель в окрестностях Кремоны. Деревенский виолончелист играл на ней на хорах сельской церкви. Во время одной из служб хоры рухнули вместе с органом, виолончелью, музыкантами и певцами. Виолончелист сломал себе ногу. Инструмент был поврежден в нижней деке, но не в душе. Через несколько дней он был спасен от рук неопытного реставратора.

„Со своим мостиком и своими „эфами“, не похож ли он на красивое лицо с прекрасным голосом? Он живой. Ему не нужен смычок. Играет и поет сам по себе. В городе Мексико женщины подходили, очарованные ангельским тембром его, чтобы потрогать его „кожу“, более драгоценную и более нежную, чем у них“.

Вот что рассказывает артиллерист из Эмилии, одетый в защитный цвет.

— Женская кожа с'едает лак. Я видел в Ницце Страдивариуса, потертого во многих местах от голой руки и от шеи скрипачки.

дить. Почему Тесторе выбирал мягкое дерево, которое сразу пропитывается звуками, и звук постоянно циркулирует в нем, как лимфа? Почему, наоборот, Гварнери дель Джезу не придает особенного значения выбору дерева, чувствуя в себе силу преобразить всякое своим таинственным влиянием? Вот это истинный оккультный поэт. Он работает только по вдохновению. Вырежет на лице скрипки два властных „эфа“, и лицо живет, говорит, нетерпеливо рвется петь.

Каково же влияние „эфа“ на резонирующую деку? „Эфы“ Гварнери не похожи ни на „эфы“ Амати, ни на „эфы“ Страдивариуса, ни на какие другие. Как он открыл их?—

Мне нравится страсть этого тонкого виолончелиста, прикомандированного к тяжелой артиллерии, который чувствует и выражает с такой лирической силой жизнь этих живых вещей.

Он говорит:—Не было еще немой виолончели для упражнений. Мне пришло в голову построить такую, с узкой резонирующей декой, соответствующей длине пластинки. И вдруг, случайно, из этого родился новый инструмент, у которого дивный звук английского рога, очень подходящий для старинных танцев.

Говорю ему:—Назовем ее альбергиной.

Он идет за своей альбергиной. Возвращается.

Играет мне жигу, куранту, гальярду.

Среди гальярды мы слышим злобный рев сирены и за ним пушечный выстрел.

Сиренетта приносит мне странную тетрадь нот и не хочет сказать мне, где она ее нашла.

Она написана от руки, почерком легким и крылатым, переплетена в пергамент желтоватого цвета.

кой, с наконечником из черного дерева, с перламутровым глазком. Вот другой, с круглой палочкой, обитой черной кожей с маленькими гвоздями, и наконечником из темной черепахи, с золотым глазком.

Вот английский „Додд“, который имеет другую прелесть, а может быть, вовсе не имеет, со своей облицовкой из китового уса, с наконечником из слоновой кости, с восьмигранной рукояткой из серебра и слоновой кости.

А вот еще другой, без имени, без прикрас, совсем бедняк, настоящий французский смычок для „Хвалы всем тварям“, в котором хорош только красновато-коричневый цвет его дерева в тон с моим Гварнери.

И только этот смычок, неведомо почему, подходит к моей виолончели; и только он, неведомо почему, умеет извлечь из ее души ее голос.

Они понимают друг друга. Если хорошенько рассмотреть дерево того и другого, можно подумать, что этот смычок был извлечен из ее бока, как Ева из ребра Адама.—

Артиллерист смеется добрым детским смехом, пощипывая струну.

Я говорю ему:—Возможно. Инструменты—демонической природы. Старые мастера в верхней части грифа вместо завитка помещали иногда изображение Лукавого. Я видел раз басовую скрипку с грифом, который оканчивался рогатой головой.

На моей родине в Абруцци я видел *viola d'amore*, с ручкой в виде хищной птицы с длинной шеей, которая изгибается в сторону музыканта, чтобы искушать его и вливать в его сердце свои коварные чары.—

Артиллерист перестал шутить.—Без сомнения,—говорит он.—Великие скрипичные мастера были магами. При выборе дерева только магия может ими руково-

вами: „*L'autrier par la matinée*“, или еще: „*J'aloie l'autrier errant sans compaignon*“.

Она пела старые английские песни времен трагиков, как песня Дездемоны: „*O willo, o willo, shall be my garland*“, или прелестную песню на слова Бен-Джонсона: „*Have you seen but a whyte Lillie*“.

Наивные движения уносились между стволами, в этом алебастровом свете, как паутинки умерших радостей любви.

Дремота охватила меня в то время, как я перелистывал пальцами мягкие страницы нотной тетради.

Мне снился сон, прелестный, как сон о румянце.

Я упивался прекраснейшей песнью мира.

Я был в зале большого замка в Шотландии. Или какая-то была страна без имени и без времен года?

Зала была неописуемым чудом красок, украшенная искусством человека так, как райская птица одета божественным искусством.

Разлитые в парче, в шелках и в бархате краски—изумрудно-зеленая, палевая, пурпурно-красная, черная воронова крыла, темно-зеленая с золотистым отливом,—составляли аккорды неслыханных гармоний, столь же живых, как в перьях райской птицы. И румянец женщин и детей сиял среди них еще нежнее, чем на самых прекрасных полотнах Сэр Джошуа и Гэнсборо.

Женщины и дети на диванах ласкали мягкую шерсть болонок с длинными ушами в серых и коричневых, белых и оранжевых пятнах.

И какой-то голос пел так, как если бы райская птица, переняв ночное искусство июньского соловья, сделала его солнечным, одухотворив и расцветив его красками своих перьев.

Но я не должен читать.

На обороте переплета написано рукой: „*Ignavia est iacere ubi possis surgere*“.

Укор ли это лежащему из милосердых уст?

Ощупываю страницы. Бумага тонкая и мягкая, похожая на лист, который начинает портиться с краев.

Сиренетта говорит мне, что это сборник арий для лютни, и читает мне заглавия: Passomezo Винченцио Галилеи, Intrada anglicana, Volta ursina, Pavana lacrimata, Gagliarda passionata, Gagliarda di Diomede...

Мне вспоминается Арнольд Дольмеч и маленькая его подруга, голландка, испанского происхождения, Гарлемский гиацинт, смуглый, как четки Филиппа II, нарисованные Хуаном Пантохой, которую звали „Мелодией“.

В Цюрихе мы отправлялись в уединенную еловую рощицу, пронизанную светом, как готические церковные своды.

Арнольд брал с собой свою лютню, сделанную в Венеции Маньо Штегером, похожую на киль старинной галеры и необычайно легкую. На ней он аккомпанировал пению своей прелестной спутницы, сказав предварительно: „Она не умеет петь. Это ее самое лучшее качество“.

Он держал перед собою футляр инструмента в качестве пюпитра, положив на него ноты. Прислонясь к стволу ели, поросшей мхом, Мелодия пела, слегка раскачиваясь, делая в воздухе иногда какой-то смутный мечтательный жест, иногда останавливаясь, чтобы вспомнить забытые слова старой песни.

Она пела старые песни трубадуров, например, песню Тибо де Шампань, короля Наваррского: „*Amors me fait commencer*“, или другую, которая начинается сло-

уничтожить в себе самый сильный лирический фермент твоей внутренней жизни?—

Кто говорил так?

Снимаю повязку, сажусь на кровати и смотрю на эту полосу солнца, которая там на стене понемногу протягивается по миниатюрам, по линиям подушкам дивана, по изящным клавикордам.

Снова появляется мелодия, в широкой шелковой юбке, перед клавиатурой из черного дерева, чтобы вновь спеть мне старую песню Уильяма Лоуза: „O my Clarissa!“

Так садилось солнце, справедливое и сильное, в ущелии, окруженном тощими соснами, открытыми северному ветру Триеста.

Там стоял барак, покрытый соломой, для офицеров батареи.

Во время заградительной стрельбы батарея по ошибке произвела опустошение среди наших.

Кровавое пятно было далеко, но, казалось,—приблизилось ползком. Я чувствовал его, как, прислушиваясь, чувствуешь приближение отряда, ползущего между камнями и кустарниками.

Солдаты стояли перед нахмурившимся начальником.

Голос начальника гремел. Солнце садилось в это мгновение и золотило бледные лица солдат.

Дело шло о христианской крови, о крови братской, о бедной нашей крови.

Солнечные лучи упали на столы, которые почти имели вид живых существ, не похожих одно на другое—каждый со своими пятнами, со своими трещинами, со своими узлами, гвоздями, знаками.

Смертельно-бледный капитан не мог преодолеть жалкого дрожания своих губ. На его пальцах блестело слишком много колец.

И вся эта радость очей была пронизана волнами звуков, которые то заливали ее, то снова раскрывали, то смыкались, то размыкались.

Но что это за звуки, которые я стараюсь припомнить,—песнь невидимой райской птицы?

Всякий раз, когда я просыпаюсь, я теряю обетованную землю.

Чувство волнует меня наяву и искушает во сне.
Accessus morbi.

Снова терплю приступы и мучения того наследственного зла, от которого так страдал Джорджо Ауриспа, униженный и павший.

Мать короля Лемуэля говорит скорбно:—Что, сын мой?

А другой голос вкрадчиво и снисходительно говорит:

—Почему тебе бежать от безоружной молодой женщины и от роз, которые расцветают в ней, более пышные, чем розы садов Азиэ, когда-то тобой завоеванных, и от больших глаз, патетических, как глаза твоего арабского коня, замучённого шипами, и от волшебной смены трагических масок на ее лице в бреду страсти. Зачем уходить тебе от всего этого, о слишком суровый аскет, если только это может помочь тебе проникнуть в тайну, которой никогда не могли осветить тебе ни твоя добродетель, ни твое отречение?

Какой ущерб может от этого быть твоей воле к самопожертвованию и к совершенству? И если тебе болезненно твое презрение, как может оно умалить тебя? И если твоя печаль всегда черпала силу и вдохновение от постоянного разлада между твоей чувственностью и твоим рассудком, как можешь ты хотеть

Бесчувственная луна созерцает красоту бездушную, как красота Ангкора или Анурадхапура.

Внезапно тревожный рев сирены разрывает безмолвие.

Пушечный выстрел разносится от Лидо до Сан-Джорджо, от Сан-Джорджо до новых бастионов.

Он возвещает о неожиданном ночном набеге крылатых разрушителей.

И вот, под угрозой, весь город чудесным образом оживает в моей плоти, в моих костях, в каждой из моих вен.

Купола, колокольни, портики, лоджи и статуи—это мои члены, это моя боль.

Судорожно сжимаюсь на своих подушках, с лицом обращенным к светлому небу, не зная, в какой части своего тела я буду искалечен.

Моя человеческая жизнь теряется. Во мне только жизнь мраморов и мощь отразившихся в них высеченных веков истории, ожидающих поношения, которому нет имени.

О, красота ночи, сколько раз я терял тебя!

Видеть, смотреть, знать, в этом я был всегда жаден, всегда ненасытен. И все же, о, ненасытные зрачки мои, вы недостаточно видели, недостаточно смотрели, вы не смогли воспринять в себя все грани проявленного божества.

А один из вас уже погиб, другой мутнеет и напрягается, и, может-быть, ему тоже суждено погаснуть.

— Смотри! Смотри!

И в полнолуние раздается этот голос, который звучит в гармонии с каждым звуком страдания и каждым звуком радости: голос Гизолы.

Солнечные лучи упали на рубахи солдат, висевшие на веревке.

Выяснялись настойчивое повторение ошибки, число жертв, низкая попытка оправдаться.

Солнечные лучи упали на ряд блестящих котелков.

Над ущельем пролетали усталые снаряды, подражая скрипу старой телеги на расшатанных колесах.

Солнечные лучи упали на лопату, на куст чертополоха, на пистолет, на боченок, на ящик с известью.

Голос начальника не переставал громить, неумолимый. Один безбородый подпрапорщик разразился рыданиями. Вместе со свистящим снарядом в воздухе пролетела одинокая птица, мелькнув белой грудкой.

Солнечные лучи упали на резерв гранат, заключенных в свои клетки из неотесанного дерева.

Капитан вдруг упал на землю и покатился вниз по оврагу, в женской истерике.

Надвигалась ли кровавая масса?

Я видел, как ущелье Карсо, подобное глазу с вывернутыми веками, багровело от истерзанных тел по всему краю.

Я лежу перед окном. Светит полная луна. Нет ни дуновения ветерка.

Дом Коре населен белыми павлинами. Я вижу только обширный каменный фундамент, верхушки деревьев скрытого сада и полоску светящейся воды.

Мистическое величие одинокого запустения, как в мертвом городе Персии или Индии.

Канал похож на священную реку, где на закате рассыпан пепел костров.

Не слышно ни голоса, ни плеска весла, никакого звука. Жизнь как будто иссякла уже века.

Кто знает, как громоздятся сегодня ночью циклопические стены и башни скал в Боско-Агро, на той батарее, где под вечер я увидел выглянувшую между двумя орудиями, раскаленными от стрельбы, горную козочку.

— Смотри! Смотри!

Всю ли ночь я проведу, припоминая и жалея о прошлом?

Сегодня страстной четверг.

День пасмурный. Слежу за сменой освещений в зеркале против меня.

Проходит облако. Другое облако распадается на отдельные волокна, как руно в руках валяльщика.

Солнце прячется, и кажется, что все холодеет.

Зеркало замерзает, как четырехугольная лужа.

Под шерстяной одеждой меня пробирает дрожь.

Безмолвие напоминает предрассветное затишье.

Колокола замолкли. Усталые от колебания, они отдыхают, с устами, обращенными книзу, полными тени. Веревки висят, потертые и лоснящиеся в двух местах от рук звонаря.

Сколько грусти излили они на каждый час моих прошлых дней!

И все же эта необычная тишина не приносит мне покоя. Печаль приходит ко мне уже не из воздуха, уже не с высоты. Сегодня она притаилась у ног моих, бескрылая.

Спит и во сне вздрагивает.

В завязанном глазу лиловые мерцания образуют туманности, потом исчезают,—и вновь собираются. Маленькие пятна одного и того же цвета появляются и исчезают в поле зрения здорового глаза. Это цвет страстного четверга.

— Смотри! Смотри!

Она меня пробудила от сна. Я погружен был в сон, как в черный поток. Мне казалось, что она берет меня под мышки и силится вытащить меня из ленивого водоворота.

— Смотри! Смотри!

Так увлекла она меня к окну. Я поднял тяжелые веки и увидел высокие пики сапфира и сверхестественные вершины гор необитаемой планеты.

— Смотри! Смотри!

Это было преображение апуанских Альп в лунную ночь, поднимающуюся из глубин тысячелетней памяти какого-то божества, в экстазе творчества.

Я снова опустил веки, подавленный тяжестью сна.

— Смотри!

Я снова поднял и снова опустил их. Божественное зрелище было смыто волной потока забвения.

И почему тогда, в Афинах, я был недостаточно быстрым в своем беге и не достиг Акрополя, прежде чем внезапное оргиастическое безумие августовского заката начало угасать?

И почему в тот день вблизи стовратных Фив, под большими деревьями мимозы, я не разулся, чтобы босыми ногами пройти по желтому ковру опавших цветов, но захотел вернуться на унылый пароход?

„Смотри! Смотри!“

Кто знает, как прекрасна ночь там, в Долине крови, между бараком и бараком, палаткой и палаткой!

И кто знает, как белеют в чарах тумана, поднимающегося из Валь д'Астик, камни Камполонго!

с себя шляпу фессалийской формы с двумя маленькими круглыми розами.

Она устала. Ходила по улицам, набережным, церковным дворам и кладбищам, из церкви в церковь.

Комната наполнена лиловатыми сумерками. Ее открытое лицо так бело, что почти светится. Мне кажется, что на ее темном платье я ощущаю запах восковых свечей, запах завядших трав и желто-фиолей.

Какая была седьмая церковь? Сан-Джованни-е-Паоло, около мраморного госпиталя, где находятся мои доктора.

Что делает Коллеони на своем пьедестале? Он закрыт мешками. Но ласточки щебечут для него на уединенной площади, упорно, как в бою на жизнь и на смерть.

— Как я устала!—говорит Сиренетта. И ее голос трогает мое сердце, как тогда в Бокка д'Арно трогал меня ее детский голос, опьяненный морским воздухом и прерываемый усилием плавательных движений.

Она соскальзывает на подушку у моих ног, кладет лицо на мои колени.

Лицо похудело, подбородок заострился. Мои руки, касаясь ее, видят ее, как будто бы я был совершенно слепым.

Она маленькая сегодня вечером. Это маленькая усталая девочка, утомленная мраком и погребальным запахом ладана и требующая отдыха.

Мои пальцы нащупывают узел ее волос и развязывают его с бесконечной осторожностью, как если бы она уже задремала и я хотел похитить у нее скрытое сокровище.

Она не движется, но я чувствую, что она улыбается до самых кончиков ее чутких волос, которые рассыпаются, как будто эта самая улыбка разметала их,

Глицинии цветут по всем окнам, украшают направо стену, налево балкон. Дом Коре весь увенчан глициниями поверх разрушенных стен. Небо должно быть такого же цвета, как аметист епископов.

В душе встает тема, которая царит в Largo первого трио, вместе с образом, с ней связанным. Святые колени истекают кровью. Обнаженная кость белеет среди крови.

У меня одна нога закинута на другую, и эта поза напоминает мне одно движение Иуды, о котором я слышал.

Когда, во время Тайной Вечери, Иисус сказал, в то время когда ученики его вкушали: „Истинно говорю вам, что один из вас, ядущий со мной, предаст меня“, — Иуда Искарот сидел, закинув ногу на ногу.

Услышав слова Учителя, *он снял одну ногу с другой*, как бы для того, чтобы встать.

„Иуда сидел, закинув ногу на ногу“...

Значительность этого момента, этого движения...

Он еще сидел, но уже собирался встать. Уже был готов сказать: „Учитель, не я ли?“

Сидел рядом с ним за столом Иаков Зеведеев, галилейский рыбак. И он заметил, что Иуда снял одну ногу с другой в это мгновение. И повернулся, чтобы посмотреть на него.

Сегодня вечером нет Ave Maria.

Благодать покинула владычицу рая. Мать плачет, одна ее рука на челе, другая под подбородком, как в той крипте Аквилей, где, может быть, солдаты сегодня смотрят на нее со скорбью в сердце.

Рената возвращается с поклонения плащанице.

Входит в мою комнату со вздохом усталости. Опускается на стул. Закруглив руки кверху, она снимает

в деревянном городе, — немая вестница в алой одежде появлялась на пороге потаенного покоя.

Дороже самой прекрасной среди красавиц было для меня мое искусство. Я отдавался ему с любовью, в забвении всех прочих благ. Но эта маленькая вестница без слов возвещала мне то чудесное и далекое, во что мне предстояло войти, как в неисследованную область моего существа. *Memento vivere.*

Пальцы оставляли перо и ласкали детские волосы, которые, казалось, вздувались пением, как перышки соловья.

Вот, время перестает уже вызывать во мне тоску.

Мои руки становятся как бы только внешними формами, через которые изливаются духовные силы, как и тогда.

Мое осязание музыкально и согласовано с чем-то более глубоким, чем мое сознание.

Усталая и счастливая улыбка дорогого создания кажется мне бессмертной.

Как и тогда, я знаю, в каких местах ее волосы светлеют, чувствую на плечах разделившиеся локоны.

Рената закрыла глаза. Ее длинные ресницы легко коснулись моего сердца.

Я говорю ей:—Детка, спишь?

Она встряхивается и приподнимается. Ее лицо среди густых кудрей похоже на аве.

У моих ног самый кудрявый из ангелов Мелоццо, который несет мне вечернее благословение.

Она делит со мной мою короткую трапезу. Вместе едим с жадностью запоздалые апельсины, уже очищенные от кожи и зерен, — одна сочная ткань. Утоляем нашу жажду.

подобно дуновению весны, внезапно раскрывающему большой цветок с наступлением ночи.

Таинственный лик, подобный тому, когда верующий приобщается своему богу вещественным образом.

Человеческое лицо состоит из плоти и кости, со щелками для бдящих чувств. Волосы—это живая масса, которая может быть взята в руки и взвешена.

Но это лицо—воздушный плод души моей, и эти волосы похожи на одно из тех необычайных чувств, к которым прилепляется душа, освобождаясь от иллюзии времени.

Эти кудри несут аромат детства, как грозди сирени несут аромат благовестия. Столько уже было их у ней, когда ей было пять лет.

Тогда, в белом домике на море, она обычно появлялась на пороге моей комнаты, чтобы прервать мою слишком долго затянувшуюся работу, когда мой дух горел неутомимо, как язык неугасаемого пламени, и мое искусство было для меня самой сущностью любимой любви.

Появлялась без шума, как птичка, которая садится на легкую веточку и ожидает, пока она перестанет качаться, чтобы начать свою песнь.

Иногда, чтобы не дать ускользнуть внезапному образу, я сразу оборачивался, но удерживал ее в щелке между веками, как задерживается слеза умиления, чтобы продолжить сладость мгновения, в которое душа переливается через край.

Она улыбалась, стоя в своем платье, длинном, как у инфанты, и уже тогда ее улыбка пробивалась сквозь волны ее волос и разделяла на двое их концы, как улыбка раскрывает уста.

Если в то время, когда султан покоился в об'ятиях самой прекрасной из красавиц, вспыхивал пожар

— Вот она.

Она поднимает голову, и я кладу одну подушку на другую. Мне кажется, что я подражаю ее ласковым движениям.

— Так хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо.

Ее доброта и ее жалость перешли в мое сердце. Она повторила мои же собственные слова и интонацию моей благодарности!

Она сразу засыпает, успокоенная. Не слышит больше. Еле дышит.

Она лежит навзничь, но лицо повернуто вправо и покоится на волосах, ноги—одна на другой, как те, которые пронзены одним гвоздем; вижу, как блестит пряжка.

Руки подняты кверху, как руки дев, ожидающих стигмат; но пальцы сомкнуты.

Она спит со сжатыми кулаками, как в детстве, спит на моем ложе страдания, как в своей невинной колыбели.

Я охраняю ее сон, тихо похаживая из угла в угол.

Мой шаг бесшумен. На мне шерстяная обувь.

Мои ноги снова ощущают прежнюю гибкость. Туловище держу неподвижно, шею выпрямленной и голову закинутой назад.

Несу свой больной глаз на своем ввалившемся лице, как на блюде мученицы Лучии.

Если бы блюдо было полно крови или слез, с него не упала бы ни одна капля, так искусны и осторожны мои движения.

Каждый раз, проходя перед зеркалом, вижу в темноте незнакомца с повязанной головой.

Когда я подхожу к кровати, моя нога на ковре становится легче, как лапа ночного зверя, переходящего через лужайку.

Теперь она склоняет голову движением птиц, когда они прячут головку под крыло.

— Тебе хочется спать, детка?

— Ужасно хочется.

Сердце мое дрожит. До сих пор она заботилась обо мне. И теперь, вот, я забочусь о ней.

— Ложись на мою кровать и поспи немного.

— Если засну, то уж больше не проснусь.

— Я тебя разбужу.

Она встает, с трудом двигая ослабевшими членами, и сонно подходит к кровати.

Ложится на место, углубленное моими страданиями, кладет голову на подушку моих бессонных ночей.

Это плоская подушка меньшей высоты, чем рука, положенная под голову на голой земле.

— Как ты можешь спать так низко?—говорит она сонным голосом.

Это подушка моих страданий, на которой неделю за неделей держал я мой глаз в неподвижности, как горящий уголь на пучке золы, под непрерывным дыханием демона, раздувающего в нем искры и огонь.

Я на ногах, а она лежит. Стою у изголовья, как стояла она, а она лежит навзничь, как лежал я.

Она говорит:—Я бы не могла спать так.

Не могу нагнуться над ней, потому что должен всегда держать голову немного закинутой назад, когда стою.

— Хочешь другую подушку?

Иду осторожными шагами туда, где раньше я сидел около окна. Беру подушку, возвращаюсь к постели.

Сердце мое полно такой чистой нежности, как будто в него вливаются одновременно детство моего ребенка и мое собственное.

На руках у меня было дитя нескольких месяцев, изнуренное страданиями, блее полотна, с темными тенями около ноздрей, что повергало меня в ужас.

Я встречал смерть у двери, встречал ее у окна. Вгерьял в нее взор, дикий и упорный, взор борющегося.

Это был уединенный дом в окрестностях Резины. Была июньская ночь.

Вулкан пылал уже несколько дней, и через окно виднелся огонь кратера, широкие воспламененные трещины, длинные раскаленные потоки и нависшая туча, красная от зарева.

Доктор ушел, возложив последнюю надежду на сон, как на божественно-целительное средство. Малютка перестала плакать и задремала, когда я взял ее на руки и начал с нею тихо ходить.

Я ощущал свое тело только в виде ритма.

Я не шептал, не пел, почти не дышал, но мой шаг подражал колыбельной песне, мои округленные локти подражали качающейся люльке, все мои члены подчинялись какой-то усыпляющей музыке.

Припевы моей кормилицы вставали из глубин и руководили мной.

Мой рот вспоминал, как он сосал маковую головку, завернутую в мягкую тряпочку.

Мои мысли без конца колыхались между мраком и сном, между жизнью и смертью, между светом неба и огнем земли.

Когда я подходил к окну, я слышал пение сверчков, слышал тихую мелодию ночи. Когда я подходил к двери, я слышал глухое биение, которое мне казалось неведомым, как голоса бесконечного бдения.

И сначала, когда я оборачивался, это биение становилось ритмом земной мелодии, и волны моего ужаса рассеивались.

Доктора позволили мне ходить взад и вперед в четырех стенах, чтобы вернуть мне сон, который бежит меня.

Останавливаюсь. Кажется, что спящая не дышит.

Она неподвижна в своей темной одежде. По обе стороны лица лежат сжатые кулачки.

Пучок красных роз в золоченом бокале пахнет теплицей; это розы завтрашнего дня. Полное безмолвие, одинаковое в свете и в мраке.

На том месте, где я страдал, где я надеялся, где я отчаивался, где боролся с чудовищами, где беседовал с ангелами, где истекал кровью, где я плакал, — там покоится мое дитя.

Какая она маленькая, сегодня вечером! Она весит не более, чем та умирающая девочка, которую когда-то я держал на руках в течение целой ночи.

Это воспоминание приходит издалека, как волна, которую грудь не может вместить.

Жалость, отчаяние, ужас, желание отдать свою кровь и свое дыхание, ожидание чуда, роковое сияние Медведицы, Млечный Путь, близкий, как путь, отделяющийся от земной дороги, чтобы подняться к другой скорби; и чередующееся движение неведомых сил между горой и морем, и быстро проносящийся бог, который не слышит мольбы и не смотрит на приношения, непреодолимый трепет плоти и воля, вооруженная против смерти...

Я ходил, как сейчас, по более обширной темноте, той же поступью, осторожной и гибкой.

От двери, открытой в темноте, где белела кровать и люлька, я шел к окну, распахнутому к звездному небу.

дыхании зари, и никогда не чувствовал в себе всей меры этой невысказанной песни, вплоть до этого часа, к которому снова привела меня тайна любви.

Сегодня страстная пятница. Сегодня годовщина рождения Рима.

21 апреля 1916 г. На какой Голгофе сегодня приносится в жертву сын человеческий?

Сын человеческий сегодня распят за нас на дикой горе, которая носит имя святого Михаила меченосца, на горе о четырех вершинах и четырех ветрах гнева, без тени и без воды. И для нас из уст, напоенных желчью, снова веет жизнью и надеждой.

У меня есть четыре моих братских креста.

Джузеппе Миралья распят на своем крыле.

Луиджи Байло распят на своем крыле.

Альфредо Барбьери распят на своем крыле.

Луиджи Брешьяни распят на своем крыле.

У меня нет пелены ученика из Аримафеи, ни душистого елеса Никодима. Но я дал им гроб новый, „где никто еще не был положен“.

Святой лик любви и скорби моей матери закрыл сегодня ангел лиловым покрывалом из сострадания ко мне.

Сегодня страстная суббота.

Внезапно звон колоколов широкими волнами всколыхнул погребальную тишину в то время, как я лежу на кровати, туго обвитый пеленами, как Лазарь, с платом на голове.

После того, как они так долго волновали мою печаль, теперь колокола звонят о моей надежде.

Но под конец, подойдя к двери, где стояла смерть, я услышал, что биение растет и становится грозным.

Ужас ускорил удары моего сердца. Я остановился, растерянный.

Мне казалось, что этот ужасный трепет передавался мне из хрупкого тельца умирающего маленького существа.

Я представил себе предсмертный жар, ужас агонии, которая сдавит маленькое горлышко, не пропуская ни крика, ни стона.

Я нагнулся, чтобы взглянуть на изнуренное личико, прильнул своим дыханием к полузакрытому роту.

Но личико было мирное, ротик спокоен, сладость сна наполняла сжатые кулачки.

И открылось стесненному сердцу свершившееся чудо природы. Я вдруг заметил биение вен, надувшихся на моих усталых руках.

Малейшее движение могло нарушить чудодейственный сон. Я согласился на пытку. Продолжал ходить тихим шагом, нося на руках жизнь моей жизни.

Я питал ее своей волей, насыщал своим терпеливым страданием.

Вся мощь моей души напряженно поддерживала мои слабые руки, и все же я чувствовал красоту ночи, как в приливе аполлинического вдохновения.

Тихий напев по всему моему телу превращался в упоение песни. Огненный кратер напоминал мне о мифе Вечной Матери, закаляющей в ревущем пламени смертную плоть.

Мой напряженный пульс отмерял ритм песни вселенной.

И никогда больше не видел я с таким трепетом радости, как мерцают звезды и бледнеют при первом

золотые крылья, покрасневшие от соленой влаги Адриатики. Мне кажется, что я вдыхаю запах высот. Эти серые одежды знали лазурь за облаками, висели на высоте четырех тысяч метров в воздушной пустыне, заключали в себе экстаз жертвы, который, казалось, парил в небе Тренто, насыщенном бурей и пронизанном гневными молниями двух вражьих сил. Талисманы лежали в кармане со стороны сердца: старинное кольцо моей матери с геммой, с мертвой головой между двумя костями, и разрывная пуля, которая 7 августа врезалась в деревянную часть аэроплана рядом с моим локтем.

Улыбаюсь, слыша, как звенят шпоры, которые удаляют друг о друга в то время, как мне их пристегивают. Но я не позволяю надеть их. Конь не бьет копытом у дверей, и морской самолет, увы, не шумит на берегу, готовый взлететь. Я — еле выздоравливающий опасно-больной.

Колени мои дрожат. Сердце отчаянно бьется. Собираюсь переступить через порог, который был для меня так долго запретным.

Спускаюсь с лестницы с бесконечной осторожностью, неся глаз, как реликвию в моей приподнятой голове.

Сиренетта тут, готовая поддерживать меня.

Вот последняя ступень.

Вот комната нижнего этажа.

Вот зеленые просветы за окном, завешанным кружевами.

Вот свежий воздух, который, как непривычный напиток, наполняет своим новым вкусом мои жадные уста.

Вот сад, вот листья, вот цветы.

Моя рука поднимается к повязке. Эта повязка более сурова, чем обычно. Она не белая, но темная, не полотняная, но шелковая. Мой глаз одет в траур.

Сегодня исполняется девятая неделя со дня моего возвращения, моего приговора, пригвождения моего тела во мрак. Предвешание Сиренетты смутило меня надеждой. И в самом воздухе Воскресения и в самом воздухе Вознесения не чувствуется ли дуновение чуда?

Ничей голос не зовет меня, чтобы я вышел. Остаюсь неподвижен, подавляя в себе порыв подняться.

Мое тело изнуруется, истерзанное уколами целебных игл.

Там и сям, прерывистая лихорадочная пульсация в тонких фибрах возбуждает во мне какое-то отвращение, словно внутри меня живет какой-то маленький быстрый зверек, который отчаянно бежит по моим членам, пытаясь лапками и мордочкой найти себе выход.

Сердце неровными ударами бьется у горла, отдает в затылок.

Мир, мир, мир. Но святое благовестие не утишает моих страданий.

Не могу удержаться от искушения сделать опыт. Понемногу освобождаю руку от пелены, приподнимаю край повязки, закрывающей раненый глаз, поднимаю веко.

Но упорный мрак попрежнему тут, без перемен. Доброе предвешание оказалось тщетным.

В первый раз мне позволено спуститься в сад.

Меня поддерживает обманчивая бодрость. С детской радостью оставляю старческие одежды больного. Становлюсь снова белым уланом.

Мои кавалерийские рейтузы, так хорошо обтягивавшие колена, теперь образуют складки. С трепетом надежды вижу на руках тужурки знаки летчика —

Знает, какие ветки больны, знает число бутонов; который из них запаздывает, который должен раскрыться.

Жалуется на ленивого садовника. Берет маленькие меха и обдает целебным порошком розовый куст, кишаший зеленоватыми насекомыми.

С недоуменной жалостью ведет она меня к большой белой розе, сердце которой раз'едает жучок.

— Почему ты не стряхнешь его, не прогонишь? — спрашиваю я.

— Теперь роза все равно уже погибла, — говорит она. — И если жучок не насытится этой, он пойдет искать другую.

Чувствую, что ее сострадание делится между насекомыми и цветком, как любовь святого Франциска вмещала в себе и жадную птицу, и заклеванного червячка, пылающий огонь и горящую одежду, немощную плоть и траву, растертую, чтобы исцелить ее.

Останавливаюсь перед этим зрелищем разрушительной страсти.

Насекомое впилося в сладость цветка с жадностью, похожей на восторг и самозабвение.

Оно сверкает, как золотая пластинка, которая просвечивает сквозь отшлифованный изумруд.

Это изумительный драгоценный камешек, и в то же время дикая стихийная сила.

Он ничего не помнит, забывает всякую опасность, всякую неожиданность, всякую угрозу, погружен в свое наслаждение, как в преступление, не боящееся кары.

Вновь чувствую, как в ранней юности, то божественное, что есть в голоде и в жажде.

Все сердце розы источено, изгложено; среди лепестков, еще не тронутых, оно проглядывает, желтоватое, как остаток меда.

Со своей детской грацией Сиренетта берет меня за руку, увлекает меня к розовому кусту на высоком штамбе и говорит мне:—Посмотри на эту маленькую розу.

Тайна интонации, которая может из девушки и из розы сделать одно существо!

Она придерживает стебель между четвертым и средним пальцем, и кажется, что маленькая роза родилась в ее ладони, как начало весенней метаморфозы.

На ней полосатое платье, белое с зеленым, сделанное как будто по образцу тех серебристых тополей, молодые ветви которых трепещут на ветру.

Маленькая роза привита к ней, это цветок ее нежности.

Она так чиста, так хрупка, так нежно сложена, что ее нельзя сравнить ни с чем вещественным, а только, может быть, с мыслью, чистой и неизреченной.

Нет проявления детства, которое могло бы сравниться с ней.

Нужно стать на колени и поклониться ей.

Совершенство ее мимолетно.

Мне кажется, точно я вижу, как ее лепестки раскрываются с мгновения на мгновение.

С наступлением ночи, она будет уже раскрыта и бездушна.

Инертность стольких дней замкнула меня в ощущение только одинокой брэнности среди неодушевленных предметов. Но вот я вновь обретаю слух поэта, сидящего на берегу реки времен. Снова слышу, как льется мелодия вечного струения.

Сиренетта во всех подробностях знает краткую сказку сада. Знает, где живет гусеница, где пчела, где паук, где жуки, и все, что они делают.

кажутся маленькими нетерпеливыми язычками, которые „хотят говорить“.

Непосредственная душа Сиренетты сейчас же почувствовала беззвучный ритм.

Лавр говорит. Сказал он: „Чтобы не уснуть?“ или: „Чтобы не умереть?“

Никогда не был сон так далек от меня, и никогда столь близко от смерти не было у меня такой жажды бессмертия.

И в моем закаленном сердце звучит глубокая песнь.

Солнце садится за изгибом канала, который теперь зелен, как мой говорящий лавр.

Колокола молчат, но воздух словно дрожит в ожидании их ангельских звуков.

Мой повязанный глаз полон светящихся глициний, другой же, отвыкший от образов—дремлет.

Вне времени разрастается медленная гармония.

Дом Коре превращается в обширную гирлянду, поддерживаемую головами львов, склоненными над водой.

От палаццо Дарио до церкви делла Салуте камни в розовом свете становятся похожими на живое тело.

Фасады опираются друг о друга, как женщины, прислоненные друг к другу, чтобы не упасть внезапно, когда они охвачены весенней истомой.

Большая черная барка, нагруженная блестящей серой, подталкиваемая длинными веслами, проходит, как видение из далей тысячелетий и воспоминаний.

У нее старинный руль с длинной рукояткой, за которую держится человек, похожий на финикийского рулевого.

Рана полна нектара, убийство сладостно.

Ненасытная любовь не ведает вины.

Кто питается красотой, растет в красоте.

Я хотел бы помедлить, чтобы уловить то мгновение, когда жучок распушит крылышки из-под золотого панцыря и улетит вверх вдоль солнечного луча.

День склоняется к вечеру. Ни малейшего дуновения ветерка. Молодые листочки дышат и надеются, старые размышляют и вспоминают.

Роскошно цветущая глициния, покрывающая всю стену до крыши, разветвляясь из ствола, похожего на связку спутанных веревок, напоминает мне сети, которые при мне вытащили на берег Атлантического океана множество почти лиловых медуз.

Ласточки реют и неистово кричат, и я страдаю от старых ран, как если бы они насквозь пронизывали меня стрелами.

В одном углу вижу две опрокинутые лейки; не знаю почему, они дают мне ощущение безмолвия, паузы среди пронзительных криков.

— Вот твой говорящий лавр, — сказала Сиренетта.

Это лавр, округленный над стройным голым стволом в рост человека.

Он имеет какой-то аллегорический вид; словно он пересажен из сонного сада Полифила.

Ему не хватает только свитка, развевающегося на середине ствола.

Его листва — темная, жесткая, густая, так что Муза не могла бы просунуть в нее свою руку, не порезавшись об ее острые края.

Среди неувядаемой листвы на правильных расстояниях пробиваются молодые листики, такие живые, что

Словно голова моя находится в середине круглого лавра, сделанного из растрескавшегося стекла.

Не из могилы ли вышел Оресто Саломоне, чтобы появиться сегодня у моего изголовья?

Он пришел неожиданно, не предупредив меня. С самого порога и до верха лестницы, ступень за ступенью, он топтал мое опустошенное сердце. Он вошел, как я входил в маленькую комнатку в Комине.

Что приносит он мне?

Не разбитую ли голову Альфредо Барбьери бросает он мне на колени?

Он еще более изможден, чем тогда, на походной кровати. Его черные глаза, которые стали еще больше, словно с'едают его худобу.

Вижу и его зеленым, как будто он умер уже четыре дня назад.

Зачем он пришел пугать меня?

Что это за тяжесть давит мои похолодевшие ноги?

Меха, и шлем, и перчатки.

Приносит ли мне их опять сегодня тот солдат, который до сих пор не смог проглотить своего куска хлеба?

Утихни, сердце. Дай мне отличать живых от мертвых.

Дай мне узнать этот голос, который в тот февральский день говорил со мной не из глубины постели, но из глубин жертвы.

Он говорил тихо. И сегодня тоже говорит тихо.

Прошло ли с тех пор девять недель или девять веков?

Этот герой не ведает, как он преобразился в моем пожаре. Если бы я дал ему прочесть мой первый вещий свиток, он не понял бы.

Сера принимает непередаваемый оттенок, когда барка входит в тень.

Этот желтый цвет мощен, как неожиданная тема, внезапно поднимающая до дивных высот угасающую симфонию.

Во мне воцаряется странное безмолвие.

Я не слышу больше ласточек.

И сердце мое бьется из боязни, чтобы колокола не нарушили этой безмолвной музыки.

Сегодня Пасха. Сегодня день Воскресения.

Товарищ по войне прислал мне в подарок гравюру с дивного рисунка, который Микель Анджело сделал для своей картины Воскресения пером, вырванным у орла Иоанна—любимого ученика. *Resurgit et insurgit.*

23 апреля 1916 г. Титанический Христос, отбросив от гроба тяжелую плиту, одной ногой еще стоит в углублении камня. Но своей поднятой головой и воздетыми руками он в страстном порыве устремляется в небо.

Так разве недостаточно безумным было мое сердце? Недостаточно стремительным его биение?

Нужен был этот яркий образ мощи, чтобы я еще острее почувствовал свое убожество?

Мне ни один ученик не приготовил нового гроба. Я здесь в тех же простынях, в тех же пеленах, в том же поту и в той же дрожи. Не воскресаю.

Искупаю вчерашнее послабление. Чувствую себя еще более ослабленным, почти разбитым. Это расслабленное тело поддерживается уже не костями, а напряженным страданием.

Вижу все зеленым. Вижу в тени мои руки зелеными. Вся комната зеленая, как густо обросшая беседка.

корни, чтобы поддержать в страдании свой народ, и свою страну.

О мать, из какого мрака должен я возродиться?

В ее неподвижных глазах нет ответа, все поникшее чело отдаленно, как снега на вершине Майеллы, возвышающейся там вдали, словно женская грудь.

Я изнемогаю, как будто опять у меня две раны в голове, и я повис над бездной с края дрожащего аэроплана.

Знаю, что это бред, и стараюсь преодолеть его.

Я жажду. Я весь жажда и волнение.

Образ реки одолевает меня, заливают, бежит по мне.

Говорю печально герою, который носит на груди воспоминание о славном небе между Любляной и Гонарсом, в виде узенькой полоски голубого шелка,—говорю ему: „Иногда я отчаиваюсь, что вернутся мои силы, таким я чувствую себя изнуренным. Глаз потерял. Это не важно. Довольно одного. Циклоп доблестен в любой кузнице. Но если я останусь калекой? Если разрушение долгой пыткой окажется непоправимым? Если я надломлен, как мне казалось вчера вечером, когда мои дорогие палачи снова укладывали меня обратно на эту раскаленную решетку?

Скажи мне ты, можем ли мы еще жить, без героического смысла жизни? Скажи мне ты, Оресто, можем ли мы продолжать жить без уверенности, что час сверхчеловеческий наступит вновь?

Мои слова обрываются, ударившись о металлическое небо. Снова жую вкус стали. Жажда буззвучно свирепствует во мне. Образ реки заливают, крутит меня, хлещет вокруг меня.

„О сестра, зачем ты дважды обманула меня?“

Он возвращается после отдыха. После лечения.

Капуя окружила его негой и почестями. Он еще не вполне выздоровел. Ужас Гонарса еще щемит его душу. В его ввалившихся глазах, подернутых влагой, сверкает напряженный блеск, словно в них еще отражается быстрота небесного пути, горящего искрами крови. Эти глаза одиноки, неподвижны между не моргающими веками. Они одиноки, как удлиненные глаза мучеников, выстроенных в ряд на золотом фоне в равеннской базилике. Все остальное в нем тускло, как вернувшееся к земле.

Бывают героические поступки, которые потрясенного ими героя заковывают навсегда.

Вот орел, влачащий на ногах цепь и свинцовый шар.

Не знаю почему, но я чувствую, что он останется подавленным необходимостью превзойти себя.

И мне хочется плакать с ним.

И я вижу его там, изгнанником в своей земле, с ногами, пригвожденными к незасеянной ниве, с глазами, вперившимися с тоскою летчика в вершину горы Вультур.

„Я вернусь в Комину через два или три дня. Проехал через Венецию только для того, чтобы обнять тебя“.

„И ты сможешь *уже опять* вернуться к войне?“

„Нет еще. Пока буду командовать лагерем. А ты?“

В моем воображении он смотрит на Вультур. А я стою у устья своей реки, до половины тела погруженный в пески, и моя мать тут же, скорчившись, словно вырастает в землю, внедряется в нее, пускает в нее

Брод как раз в этом месте.

Крестьянин входит в воду. Начинает сгибать колени, чтобы показать, что дно понижается. Потом ползет по дну на коленях. Потом ложится, исчезает. Остается под водой. Над его безвестной и безмолвной жертвой проносится поток Отчизны.

Откуда пришло к нам это молчание?

Оно струится как тот поток, в котором поник этот человек.

Мало-по-малу мое сердце затихает.

Рука моего друга в моей руке на краю постели.

— Что это за полоски бумаги? — спрашивает он видя разбросанные на кровати мои вещи листы.

— Я записываю на них в темноте свои сновидения, строка за строкой.

Он удивляется; и его улыбка приобретает неожиданную свежесть.

— Как же ты пишешь?

— Вот так.

Беру дощечку, кладу ее с наклоном на слегка приподнятые колени. Беру белый свиток, раскладываю его и пишу с таким же трепетом, как и в тот раз, когда я это делал в первый раз.

За моей рукой следят те глаза, которые видели Луиджи Байло умирающим, распростертым на мостике аэроплана, между двумя медными резервуарами; видели, как из шлема Альфредо Барбьери, повисшего с борта, разносились по ветру брызги священной крови.

— Возьми. Смотри, удастся ли тебе прочесть то, что я написал.

Герой берет свиток, встает, подходит к полуоткрытому окну, начинает разбирать, колеблется.

Постаревший, согбенный, разбитый, ослепший, с дрожащими коленями, с ослабевшими локтями—вот я стою и жду на берегу моей реки. Что это за река?

Река, о которой я говорю тебе, Оресто, это река вечности.

Вдохновение героизма веет и над калеками, веет и над человеческими обломками, веет и над бессильными костями.

Я скажу тебе нечто великое, тебе, которому суждено было вернуть родине мое тело, принесенное в жертву.

Мы лишены крыльев. Есть слава выси, и есть слава глубины. Есть смерть прекрасная, есть смерть еще прекраснее.

То, что я расскажу тебе—правда, но я хочу поднять это за пределы времени и за грани пространства.

Мы не можем больше сражаться? Я крестьянин из Пескары, ты крестьянин из Вультура.

Безымянный крестьянин вскапывает свою убогую землю на берегу реки. Его родина охвачена войной. Его родину заполонил неприятель. Он будет сеять для утоления голода воюющих.

С утра он видит своих, переходящих брод, ищущих спасения на другом берегу, чтобы собраться, объединиться, чтобы дать отпор неприятелю.

Но вот появляются преследующие их враги. Появляются грозные всадники и требуют, чтобы крестьянин указал брод.

Он наклоняется над заступом. Не отвечает.

Они возобновляют требование.

Он копает землю. Не произносит слова.

Тогда они хватают его, связывают ему руки за спину, толкают его к берегу и говорят:—Ты пойдешь по воде первым, впереди нас.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот комментарий к мраку был написан, строка за строкой, на десяти тысячах бумажных полосок. Почерк был более или менее искажен, смотря по степени страданий и по качеству чередующихся видений.

В мае и июне 1916 года моя дочь Рената работала над разбором большей части полосок, в то время как я, при скромном освещении, писал послесловие к „Леде без лебедя“, пользуясь тем же способом, но имея возможность от времени до времени взглядом проверять направление строчек.

Разобранный текст был мне прочитан и потом, без сопротивления с моей стороны, был передан моему издателю, который напечатал его осенью того же года.

Он заключал в себе часть этой книги, до эпизода о слепых солдатах в полевом госпитале, некоторые отрывки из второй части и „Страсти Предпасхальной недели“, до конца.

В остальных частях трудность чтения рукописи и приведения ее в порядок была так велика, что терпеливейшая переписчица упала духом. Полоски бумаги, выбившиеся из крепок, перепутались. Многие из них, написанные в часы самого тяжелого томления, заключали в себе по две и по три строчки, пересекавшиеся или находившие одна на другую. Другие, как, например, те, где говорится о видении лица моей матери,

Из каких глубин, из каких могил поднимается к нам это молчание?

Его руки слегка дрожат под орлиным его профилем.

Он читает тем же заглушенным голосом, которым говорил со мною, когда летал на походной койке.

— А что, если есть смерть еще более прекрасная?

О освобождение, освобождение,
взываю к тебе в моих сумерках без Геспера,
взываю к тебе в моей ночи без Медведицы,
взываю к тебе моим утром без Дианы;
а ты еще не отпускаешь меня!

О освобождение, освобождение,
тебе посвящаю я эти мои повязки, насыщенные обесцвеченной кровью и застывшими слезами; тебе посвящаю я этот зрачок мой, который не видит больше и не хочет видеть ничего иного, как только ту лишенную света зарю, которую я вызываю в себе.

О освобождение, освобождение,
удали от меня сострадание тех, кто любит меня, и любовь тех, кто жалеет меня, и эту музыку, и это безумие, и всю эту расслабленность, которая не стоит моего соломенного ложа.

О освобождение, освобождение,
приди и развяжи меня; приди и укрепи мои колени, и мои локти, и кисти моих рук; приди и влей мне снова соль и железо в кровь; приди и сделай, чтобы я остался вновь с моим горячим сердцем; и брось меня снова в битву.

меня через моих товарищей, от которых пахло битвой, как от мясника пахнет кровью и от косаря сеном.

Дни Святой Горицы все мое нетерпение и всю мою тревогу превратили в решимость отчаяния. Я познал тогда, что означают слова Микель Анджело: „Не родится во мне мысли, в которой не была бы высечена смерть“.

Мне не удалось овладеть собой иначе, как дав себе обещание победить все препятствия, чтобы вернуть моей воле крылья, которые были ей присущи.

Против меня были предсказания науки и опасения любви. Объявляю с гордостью и с благодарностью перед лицом дочерей, сестер и матерей сражавшихся, что в борьбе неустрашимой моей союзницей было дитя моей крови. Она знала мою жизненную потребность и знала, что опасность, которую я носил в себе, была реальнее, чем та, навстречу которой я шел.

Она восстала против запретов и сумела с улыбкой встретить изумление других.

О, день Паренцо, сентябрьский день, попеременно то пасмурный, то ясный, каким знаком отмечу я тебя на священных дощечках своих обетов?

Я вел вторую группу морских боевых аэропланов. Луиджи Болонья, который снова был моим пилотом, знал мои намерения и мужественно содействовал им, с нераздвоенным сердцем. Край аппарата справа был нарочно оставлен свободным. Я поставил между ног клетку с четырьмя ручными гранатами и прикрепил к альтиметру предваритель внезапной слепоты.

Начиная с двух тысяч метров, я стал поочередно производить наблюдения над своим зрением и давать сигнальный знак для объединения группы, следовавшей за моим голубым огоньком.

были тайно вручены моей верной сиделке с приказом хранить их отдельно и никому не показывать.

Я сам сегодня затрудняюсь представить себе чередование этих моих усилий: внезапные вдохновения, резкие перерывы, лихорадочное возобновление работы. Поток творчества нарушался от малейшей остановки. Если на минуту рука останавливалась, раскаленные массы в моем мозгу рушились, и тотчас появлялась на смену новая материя, и новые образы овладевали моим вниманием.

В течение многих недель, пока я лежал на спине в бдении, в то время как без передышки страдал от бессонницы, в раненом глазу у меня была целая кузница сновидений, которых воля не могла ни направлять, ни прервать. Оптический нерв, черпая из всех пластов моего сознания и всей моей предыдущей жизни, вызывал в моем зрении бесчисленные образы с быстротой переходов, неведомой самому смелому моему лиризму.

Прошрое становилось настоящим, с такой выпуклостью форм и яркостью подробностей, которые безмерно увеличивали силу его пафоса. Понятно, что опасность безумия все время висела над моей головой. И понятно также, что воля вынести наружу весь этот хаос была для меня попыткой самосохранения.

По мере того, как мои семейные все более и более настаивали на том, чтобы я восстановил из полосок то, что один мог разобрать или угадать, возрастало мое нежелание предоставить чужим такую сокровенную часть самого себя. И уцелевший глаз мой не мог бы выдержать такой кропотливой работы, так как он был еще ослаблен болезнью другого.

К тому же печаль моя становилась все острее по мере того, как вести с войны все чаще доходили до

На острых камнях, в красной грязи окопов и крытых переходов, в то время, как я пытался установить равновесие на своих толстых сапогах с гвоздями, я вспоминал старый итальянский девиз, который, казалось, подходил к моим усилиям: „*Без крыльев не может*“ — „*Senz'ali non può*“. Я падал и снова поднимался. Раз вечером я прибыл из Файти в Валлону с окровавленным бедром и коленями. Ушел оттуда с маленьким неизвестным солдатиком, который держал меня за руку. И тот, кто в годы малодушия воспевал героев, тот в годину доблести был сам воспет героем песнью мщения.

Зловещим было желтое пятно, покрывавшее подбородок, рот и нос каждого лица, в которое я всматривался. Когда перед боем я прощался с товарищем, который шел к опасности другой дорогой, я видел на его лице желтизну, предвестницу разложения. И я не мог справиться с мрачными предчувствиями. Но с наступлением ночи пятно превращалось в кольца света, в плавучие ореолы. Так, однажды вечером, мне случилось склониться над раненым, которого я утром приветствовал, страдая при виде печального знака на его лице. Я снял с него шлем и увидел мой нимб вокруг его славной головы.

Этот нимб остался навсегда вокруг головы моей матери, вокруг ее освященной красоты.

Она не переставала являться мне перед началом каждого боевого действия и в разгаре его.

У нее уже не было того лица ужасающей безутешности, которая заставляла меня так страдать на моем ложе пыток.

У нее было лицо твердое и мужественное, лицо ее зрелых лет страдания и борьбы.

На высоте трех тысяч метров я, одноглазый, видел. На высоте трех тысяч двухсот — видел. На высоте трех тысяч четырехсот — все еще видел.

Пилот ежеминутно оборачивался ко мне с вопрошающим знаком. Ответным знаком я сообщал ему результат моих наблюдений. Незабвенный диалог боевой дружбы на той высоте, где не может жить ничто мелочное или робкое.

Передовая группа в тумане отбилась в сторону Ровиньо. Я прибыл первым к площадке неприятельской батареи. Луиджи Болонья спустился до тысячи шестисот метров, смелым и изящным маневром пройдя между зонами прицела. Несмотря на резкое изменение давления, я все еще видел. Я вынул шипы из моих бомб и попытался привести к молчанию неприятеля и свою судьбу. В то время я еще не обрел первобытного боевого клича моего племени, сменившего медные поножи на шерстяные; но моя поднятая рука могла бы сорвать звезду с небесного свода, — такую сверхчеловеческую силу придавала ей радость

Когда мы спустились на канал Сант-Андреа и причалили, мне показалось, что мои юные товарищи, ожидавшие меня, подняв меня на свои плечи, вознесли меня на вершину молодости и своих крыльев.

Я возродился.

Дата моего возрождения 13 сентября 1916 г. И я был вторично крещен в море желчи.

Intumuit mascula bilis. Потом настали дни Валлоны, Добердо, высоты 265, Великого, Файти. Необходимость носить повязки была тягостной помехой при воздушной службе. Это удержало меня на несколько месяцев на земле. В суровом Карсо я плохо мог учитывать неровности почвы.

ее изможденного тела, как эти огоньки на концах восковых свечей. И ее тление не было разложением.

По прошествии трех слишком дней еще не было ни малейшего признака или запаха тления. Она сохранялась благоуханием своего сердца.

Под конец пятого дня, тело, выставленное в церкви и открытое для народа, который ненасытно смотрел на него, все еще не подверглось участи плоти. „Любовь без образа и „доброта без образа“ (как у мистиков) приняла этот облик на пороге вечности. Итак, смерть уже не была темным переходом от света к свету, но была светлым воссоединением двух светов.

Такой она стала для меня с той поры.

Закрытие гроба, спуск его в могилу, обряд погребения представлялись мне лишь необходимым соблюдением обычая. На могильном камне мы водрузили простой крест, сделанный из досок старого нашего ботика, грубый и черный засмоленный крест.

Но из камней наших гор мы высечем статуи девяти Муз, окутанных покрывалами, которые под широкими складками со страданием вынашивают грядущую красоту, и мы воздвигнем их, как колонны, поддерживающие круглое святилище, где будет положено тело смиренной героини. И она возьмет меня под те же своды.

С собой возьмет и то, что во мне бrenно, и то, что во мне не умрет.

Ей я обязан, в самое жестокое время войны, возвышенными мгновениями совершенного мира. После того как мрак перехода от света к свету был рассеян, каждый, самый опасный поход был для меня источником экстаза, сравнимого лишь с тем, который испытывали

В ноябрьский вечер, в вечер святого Карла, после двух побед на двух голгофах, в ущельи Знамени, во время трапезы в пещере, где мы собрались за столом, чтобы праздновать пасху мертвых, полковник Перрис, цвет мужества и изящества, подарил мне букет красных роз, которые неизвестный солдат принес откуда-то через кровавые поля и пустыни ко дню его ангела. Это было словно „чудо крови“. Мы стояли изумленные, безмолвные, как будто никогда не видали свежей розы. Тогда, в темной глубине пещеры, явилась мне моя мать, вновь сиявшая духовной красотой, как по ту сторону смерти.

Был январский вечер — 27-е января 1917 г., — когда вестник от Луиджи Кадорна привез роковое известие к моей постели, куда я слег с сильной лихорадкой. Я встал. Закутался в меха летчика. Отправился. В снегу, во льду, в жару лихорадки, я снова совершил такое же путешествие, как в тот март месяц, перед изгнанием. Снова переехал Тронто. Снова увидел устья маленьких рек. Увидел на береговой дороге волов, повозки, погонщика с нагруженным ослом. Прошел под кирпичной аркой. Толкнул мою прикрытую дверь. Вдохнул страшный запах цветов. Вся лестница была полна ими. Первая комната была полна ими. Там стоял гроб.

В мои ночи искупления не созерцал ли я „смерть, облеченную в какое-то небесное целомудрие?“ Не думал ли я о творчестве того бога, который в последний день „преобразует лица своих избранных наподобие своей сокровенной красоты“?

Она была еще прекрасней, чем когда являлась мне в пещере, прекраснее, чем какое-либо человеческое существо, которое я знал за всю свою жизнь. Ее лицо приняло очертания ее души. Не может быть, чтобы душа уже отлетела. Она все еще горела на вершине

навсегда отвергает всякое соглашение и всякое осквернение.

Так захотел я, так я и сделал. Эта трагическая воля жертвы будет оценена грядущими поколениями. Драма Карнаро—драма всей родины.

В разгаре борьбы я никогда не мыслил менее возвышенно, чем внутри замкнутости моего духа.

Бонапарт хорошо знал, что „Смелость коренится в мысли“.

Вот почему я смог победить свое внутреннее сопротивление и согласиться закончить расшифрование этих свитков Сивиллы, хотя я не до конца разрешил сомнения, не лучше ли было бы предоставить их развевающему ветру:

„Эти листки она возлагала на алтарь, и если ветер развевал их, ее изречения не имели ни силы, ни значения, но когда оставались неподвижными, тогда имели силу и значение“.

Я не возлагаю их на алтарь людного святилища. Возвращаюсь в мой пустынный дом, где моя мать, с тех пор как сняла с себя белую обувь невесты, никогда не давала погаснуть огню на очаге, но каждую ночь с новым искусством хоронила под золой горящий уголек, чтобы он сохранился до утра. И это знал весь народ, и весь народ об этом помнит.

Вхожу снова в дом; прохожу из комнаты в комнату, поднимаюсь по трем ступенькам и проникаю в пятую комнату. Ее занимает широкая кровать, на которой я был зачат и рожден. У изголовья, где покоилось святое лицо моей матери, преображенное вечной красотой, я возлагаю свитки моих крестных мук и моего благоговения, чтобы они оставались там неподвижными.

редкие души, устремившиеся к мистической вершине жизни и достигшие ее.

О, ночной набег на Полу! О, францисканская ночь в Каттаро! Перелеты за море для выполнения обета, постоянно возобновляемого.

В одном из моих путевых дневников записано: „Во мне такая полнота жизни, что, когда я перегибаюсь за борт, мне кажется, что я перельюсь через край“.

Последовал большой крылатый набег следующего мая месяца, поддерживавший наступление пехоты; и завоевание неба Гермады, и траурный Троицын день в Тимаво. Вслед затем идут другие имена, высеченные на священной дощечке обетов.

Небо верхней Адриатики, небо Карсо, Каттарская бухта, залив Буккари, ежедневная бомбардировка Полы, небо Вены, небо Пьяве, поход на Ронки, взятие Фиуме, экспедиция на Зару, защита Фиуме, возврат к тишине и одиночеству.

Снова, после несправедливого перемирия, мы взяли за оружие. Один, с цветом воинов, я выгнал из столицы Карнаро сербов и союзников. На месте города торгашества, я основал город жизни, чтобы возжечь в нем огни, погасшие на алтарях Родины, и восстановить образы Победы и Величия, погасшие было в жирной грязи Рима.

Чтобы город жизни не потерпел поражения на той высоте духа, где я воздвиг его башни и его маяки, было необходимо, чтобы была пролита братская кровь. Было необходимо, чтобы между Италией новой и старой Италией легло неискупимое преступление, была вырыта непроходимая пропасть. Было необходимо засвидетельствовать ранами, смертями, развалинами, что новая Италия

одолеть поставленных препятствий. Он остался на земле, удрученный и униженный.

Позже, в одном из пробных полетов ночью, при свете звезд, принял участие один из моих верных каттарцев, белый улан Марьяно д'Айяла; вследствие неверного маневра, при спуске к Падуанскому лагерю, он лишился жизни. И вместе с его жизнью обломилась верхушка прекрасного дерева.

Зажигайте в память его каждый год огни на Вултуре!

Один за другим пали последние боевые орлы. На дне той же лагуны, куда свергся Джузеппе Миралья, в одно тихое утро прошлого сентября и Луиджи Болонья сложил свои разбитые крылья и кости. В той же мертвецкой, в госпитале Сант-Анна, где вместе мы провели ночь возле нашего товарища первых дней войны, я приподнял край знамени, чтобы еще раз взглянуть на то мужественное лицо, которое, в день битвы при Паренцо, обращалось ко мне с вопрошающим знаком, похожим на прощание.

И еще недавно, мой пилот крайних дерзаний, пилот первой морской эскадры воздушных миноносцев, пилот эскадры Сан-Марко, пилот моего прекрасного ястреба SIA 9B, Луиджи Гарроне, пал вблизи того Изонцо, который уносит в море уже не тела убитых, а лишь погибшие надежды.

И я уже не увижу больше его бледного болезненного лица под гладкими волосами, и бледных задумчивых глаз, и всей этой его почти женственной хрупкости, которая заключала в себе, как в стеклянном футляре, лезвие его силы. Но хорошо вижу его в том великом внезапном взлете к солнцу на небе Граппы, между четырьмя гранатами в головах, в хвосте и по бокам крыльев нашего „ястреба“. Вижу его возвра-

О, сколь тягостной была моя работа истолкователя и переписчика! Слишком часто мне казалось, что могучие призраки хватают меня за горло и душат меня. И не будучи в состоянии победить почти физического ужаса, я отбрасывал и оставлял в стороне немало листов.

Но каким прозрением освещены там мои порывы!

Дух словно уже держит, безоружный, то, на что потом дерзнет вооруженный. Из безмолвия возникали слова, которые потом поднимались к живым моим устам для ободрения товарищей и всех, кто шел за мной. И в одной из моих музыкальных фантазий не звенят ли, не дрожат ли „три доски палубы“, на которых потом будут спасаться Тридцать героев Буккари? И в повторении ночной строфы, не возвращается ли этот припев, который будет призывом идеала для воина, вернувшегося в „кузню, где выковывается новая сущность“?

И одно лишь созвездие
Есть для души одинокой:
Правое Дело.

И в этом вымысле о реке и о броне, предназначенном в утешение мне и герою, прикованному к земле, нет ли в нем предчувствия берега, где мы потом водрузили знамя победы „искалеченной и окровавленной перед лицом отброшенного врага?“

Не беспричинна была печаль той пасхальной беседы между избранным славою и обманутым смертью. Я увидел потом Оресто Саломоне в лагере Апулии, накануне бомбардировки Каттаро. Он явился, повинаясь жажде снова отдаться, несмотря на препятствия и преследования завистников. Он просил меня, чтобы я взял его в свой состав, хотя бы на место пулеметчика на кормовую башенку. Но мне не удалось пре-

даний и терпения Италии, сколько веков беззакония и рабства скорбело в ней?

И почему не был гроб Великого Страдальца окутан знаменем Тимаво, тем, которое я храню, тем, которое было прозвано „саваном жертвы“ и „священной хоругвью солдата“, тем, которое было распростёрто над гробами моих погибших в Фиуме, поставленными в ряд на земле?

Сначала на нем был запечатлен образ одного лишь погибшего героя; теперь на нем образ всех погибших, ибо все те, кто пал за Родину и на Родине, похожи друг на друга так же, как Джованни Рандаччо, под своим каменным сводом, похож на безвестного солдата, схороненного в четырех досках.

Больше того, сегодня он слагает с себя венец славы и отдает его безыменному. Так, однажды, когда он еще жил на земле, из смирения перед тысячами безвестных героев, он захотел снять с груди голубые знаки отличия; и я последовал его примеру.

Сегодня я бросил их в огонь.

О Аквилея, не видел ли твой духовный пастырь, та чистая душа, которую господь поставил на страже около тебя, не видел ли он, как моя мать, в виде белоснежного голубя, опустилась над твоими кипарисами?

Так он сказал мне. Это было 15 мая 1917 года.

И базилика тоже была отмечена раной. Она увидела божье небо через пробитый потолок. Обломки наката, штукатурки, стекла завалили римские мозаики пола. И к страданию изваянного Христа прибавилось еще страдание того солдата, который оставался четыре дня погребенным под развалинами и восстал, четверодневный, как Лазарь.

шающимся после бомбардировки и разведки вдоль Пьяве, в ту ночь, когда над лагерем Сан-Николо еще не загорались прожекторы, когда мы разбились вдребезги о цементную ограду и остались невредимыми среди обломков аэроплана. Вижу его во время октябрьского наступления, в один из двух наших ежедневных полетов, когда аппарат, нагруженный бомбами, словно обезумевший, не подчиняясь больше рулю, со всем грузом ударился об откос батареи и разбился, но каким-то чудом избег взрыва; и я сквозь шум удара услышал страшный крик сбежавшихся рабочих и, обернувшись, увидел, как все они закрыли в ужасе глаза руками, а сам я стоял невредимым рядом с другом, который, улыбаясь, смахивал с худой своей щеки комочки земли и травы.

В тот же самый день, три года спустя, может быть, в тот же час, счастье покинуло его. И на месте исчезнувших героических воспоминаний, и на месте, лишенном гения, сложил свои крылья его презиравший опасности героизм.

От цели к цели, от смерти к смерти. И за пределы ее.

В то время как я, печальный, писал рассказ о безвестном крестьянине, переходившем брод и ставшем на колени среди потока, принося себя в жертву, внутри базилики Аквилеи скорбная мать выбирала среди одиннадцати безыменных гробов тот, который должен был быть опущен в склеп.

В своем воображении я видел ее подобной той Марии в крипте, которая своими божественными исхудалыми руками поддерживает скорбь всех созданий, горящую в ее сердце, как в неугасаемой лампаде. Сколько веков наших бедствий, сколько веков стра-

Вода была светла у правого берега и точно бронзовая у левого, зеленоватая, как бронза святых дверей. Подрезанные клены с молодыми листьями на обрубленных ветвях были похожи на бесформенные канделябры, ожидавшие свечей, чтобы осветить реку мучениц. А ласточки продолжали пахать, и над темнеющей землей мелькали их белые грудки.

Рыбак стоял на берегу неподвижно, с жердью в руках, устремив взоры на воду, терпеливый. Но не ловилось ничего.

Эразма, Евфимия, Доротея, Текла молились за него.

Он задвигался, вынул из воды пустые сети; пошел назад; выбрал другое место; спустил жерди, вновь облекся в свое терпение и стал ждать.

Не было божественного голоса, который сказал бы ему: „Опусти вновь сети в воду, не унывай“.

Мало-по-малу все шумы утихли. Пушечный гул вдали был подобен глухому рокоту грозы. Из каждой могилы поднималась лучезарная колонна безмолвия навстречу первым звездным слезинкам.

Гимн соловья сопровождал это безмолвное вознесение, с силой восторга более стремительной, чем солнечное исступление жаворонка.

Он воспевал смерть, воспевал жизнь. *O mors, ero mors tua.*

Позади меня были две могилы юношей, близких мне, первенцев жертвы: могила Лапо Николини Аламани и могила Коррадино Ланца д'Айета. Я сорвал один старый и один молодой лист лавра и сломал их, будто совершая некий обряд. У старого листа запах был крепче, но молодой, весь влажный от сока, обещал влагу, которая утоляет высокие порывы.

Я не мог оторваться от этих мест. Темнело. Ласточки перестали пахать. Среди черных кипарисов

Я направился к кладбищу. Склеп Джованни около баптистерия стоял еще пустой и неприбранный.

За старыми кипарисами зеленели молодые лавры, а по стене ограды, обращенной к полю, обновлялся молодыми листьями цепкий плющ.

День клонился к вечеру. Пушки гремели в Монфальконе и по всем окрестным горам. Туман и дым скрывали горы гнева. В нескольких шагах от стены, в зеленых берегах, заросших ивами, текла та светлая Натисса, где когда-то были потоплены четыре Христовы мученицы: Евфимия, Доротея, Текла и Эразма.

Берега пестрели цветочками, белыми и желтыми. Вдоль полосы травы шла полоса вспаханной земли; борозды тянулись вдоль по течению реки. Ласточки, низко летая, казалось, подражали работе плуга. Они выпускали крик, носились взад и вперед и, быстрые, без плуга, пахали. Позади меня молчали могилы, как молчит тот, кто затаил дыхание. Вечерний соловей запел свой гимн в то время, как удлинялись тени.

И тогда я увидел, как по берегу шел серый солдатик, беднее, чем бедняк господень, с босыми ногами в деревянных башмаках и штанах, разорванных на коленях, в куртке, потертой на локтях. Он казался весь одного цвета, так его одежда подходила к его изможденному лицу. Белела только забинтованная его голова. Он нес сеть, висевшую на шесте, и четыре жерди.

Он выбрал место, остановился, закинул сеть в Натиссу и стоял, наклонив свое бедное лицо над водой, в молчании, не ведая того, что эти воды были освящены древним мученичеством.

Но, может быть, знало об этом его сердце.

Текла, Эразма, Евфимия, Доротея молились за него.

Сегодня ночью этот солдат, без имени и без могилы, был с нами на перепутье трех дорог, где мы зажгли ему огонь.

Он был весь одного цвета, этот бедняк Италии, как будто бог вылепил его из глины Пьяве. А огонь был весь одно сияние.

Мы сделали ложе для жара из пяти камней, положенных вокруг. Ближний крестьянин вместе со своим сыном помогал накладывать одну связку хвороста на другую. Мы жгли маслину, кипарис и граб. Но в углублении между камнями я положил добрый сук дуба, в память моего очага.

Мы присели вокруг в молчании.

Только солдат и высокое пламя стояли выпрямившись.

Пламя было прекрасно, а солдат, в своем божественном убожестве, был выше всякой красоты.

Пламя ревело, губы солдата были сжаты.

И все огни моей выжженной бесплодной слепоты никогда не вызывали во мне такого волнения, как этот огонь, зажженный на земле.

Когда сгорели все связки хвороста и мы собрали со всех сторон кругом сучья и все сухие ветки, чтобы все сжечь, я взял свою охапку лавровых веток и бросил их в жар.

Мы стояли, напряженно глядя и слушая.

Лавр словно грозил кому-то. Потом воспламенился, как вспыхивает великодушный гнев. Нас обдало его сиянием. Мы были ослеплены, восхищены им.

У безыменного не было больше иного тела, как это сияние огня.

И голос, позвавший Лазаря, тот же самый голос сказал несчастному, который тщетно закидывал сети

латинская базилика своим цветом казалась железной, словно оделась в латы, и про свою рану она говорила: „*Non dolet*. — Не болит“.

Про свою рану ничего не говорил безвестный солдат. Но руки его начинали дрожать.

Он вытащил сети из воды. Положил жердь на землю. Стал на колени и нагнулся к воде, чтобы смочить руки.

Тогда колокол с башни зазвонил Ave Maria.

На время молитва заглушила гимн, затем соловей как будто втянул в свою песнь последние волны торжественных звуков меди, чтобы устремиться в небо с еще более могучей мелодией.

Бедный рыбак перекрестился, потом снял свою деревянную обувь и уселся на берегу, свесив свои жалкие ноги, которые почти касались освященной мученичеством воды.

Доротей, Текла, Эразма, Евфимия молились за него.

Он сидел, склонив голову, слева от него лежали его деревянные башмаки, справа — пустые сети.

Сквозь дырки одежды виднелись кости его колен.

Он поднял лицо навстречу песне.

Сжал ладонями свою обвязанную голову и поднял к певцу изнуренное лицо, которое, право, походило на лицо бедняка божьего Франциска в благодати экстаза.

Но какая тоска поднялась из его человеческого сердца и затемнила эту сияющую радость?

Снова он сжал в руках свою обвязанную голову, как будто опять раскрылась его рана. И склонил лицо над священной водой. Казалось, он плачет.

И тогда по воде прошли четыре мученицы и лобзали его бедные ноги.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПЕРВОЕ ПРИНОШЕНИЕ.

	Стр.
Мои глаза завязаны.	7
Когда Сиренетта своей осторожной походкой	10
Ангел или демон ночи раздувает пожар в моем погибшем глазу	15
Кто изображал слепых, как провидцев, обращенных к гря- дущему	16
Пишу не на песке, пишу на воде.	17
Как восторг от мелодии	18
Мой товарищ на острове умерших, там.	18
Это уже не видение, это постоянное присутствие	19
Мои уста прикоснулись к полноте смерти	23
Вспоминаю дни тревоги, бессонные ночи.	25
Потоки света следуют друг за другом с лихорадочной бы- стротой	25
Тревожная ночь.	32
Входит Луиджи Брешиани, один из самых преданных друзей Джузеппе Миральи	42
Утро, назначенное для большого полета	44
Рената приготовила другой букет роз	47
На набережной Сант-Анны толпа простых женщин.	55
Пока я пишу в темноте, мысль моя прерывается.	62

в поток мученичества: „Не бойся. Отныне ты будешь ловцом человеков, о дух“.

Потом, когда погас и огонь лавра, и мои люди ушли, и опустело перепутье трех дорог, я вспомнил искусство моей матери хоронить под золою горящий уголь.

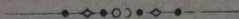
Г. д'А.

„*Suso in Italia bella*“

4 ноября 1921.

Перевела с итальянского

С. В. Герье



	Стр.
Дни проходят, часы летят один за другим	114
27 декабря, после смерти Джузеппе Миральи, меня посетил Джакомо Бони	115
Не знаю, жажду ли я больше воды, или музыки	117
Сегодня демон погасил огни, но изобрел новую пытку	118
Сегодня у меня уже нет в глазу темного гиацента	120
Это не магия ли моя?	121
Мне вспоминается другая песнь	122
Это было в доме Ильзы, в одну из ночей зимнего химери- ческого Парижа	122
Четыре доски, кажется, еще тесней сомкнулись вокруг тела .	124
У меня такое отчаянное желание увидеть небо	125
Джорджо играет мне арию Джеролама Фрескобальди, называемую Фрескобальда	127
Во время бессонницы звуки прелюдии Александра Скрябина неотступно носят над моим челом	127
„Пятьдесят юношей нас там было (Александр Скрябин) . . .	129
„Медные ноги хромого (Александр Скрябин)	131
„Горсть людей (Александр Скрябин)	132
О, женщина, останься со мной, ибо уже вечерет	133
Сегодня вечером Скрябин пляшет	134
Я вижу сосредоточенные лица	136
Мрак. Темная ночь	137
Этот зеленый поток, который от времени до времени струится из глубины глаза	137
Приехал Гвидо По	138
Мы готовы. Снимаемся с якоря	141
Дайте мне увидеть рассвет! Он не повредит мне. Распах- ните окно!	147
Явился Умберто Каньи	147
Напряжение внутренней силы расковывает меня	150
Адмирал рассказывает мне об острове Морозина	151
Моряки! Моряки!	153

ВТОРОЕ ПРИНОШЕНИЕ.

Сегодня ночью кровать колыхнется и дрожит, как двойное крыло, распростертое между морем и небом	63
Воздух снова становится подобным ледяному кристаллу	68
Лики, лики, лики,—страсти всех ликов	70
Если бы я мог передохнуть, как в ту ночь после бури!	74
Другое молчание встает передо мной.	76
Сегодня ночью какой-то демон берет мой воспаленный глаз в ладонь своей руки и дует на него	78
Идет проливной дождь	79
Дождь не прекращается. Слышу, как он хлещет в саду, на берегу, на площадке, на улице	81
Лик любви внезапно затуманивается, теряется.	84
Горизонты сдвинулись, как четыре плотины	84
К чему я хочу выздороветь?	87
В соседней комнате что-то читают	87
Я содрогаюсь в какой-то глубине, более глубокой, чем бездна моих страданий.	90
Вырвите меня из этих мучений.	91
Прощание, более раздирающее душу	95
Зачем же захотел я еще раз унести далеко от тебя свое истерзанное сердце	98
Я никогда не боялся страданий.	99
Кисть руки надломилась	101
Стены Пескары	102
Говорю доктору, который расспрашивает меня	105
У Сиренетты успокаивающий, убаюкивающий голос	106
„Прилетели ласточки“,—говорит Сиренетта.	108
По мере того, как милосердные руки	109
Опьяняйте меня музыкой	112
Но вот я будто нахожусь в первоначальной стадии разложения.	113

	Стр.
Возвращаются лиловые призраки.	187
С Альп и с Карсо солдаты посылают мне цветочки, сор- ванные в окопах	187
В маленькой комнате, где вчера мой военный квинтет играл старинную и новую музыку, сегодня спорит квинтет врачей.	189
Я снова неподвижен	191
С каким-то тяжелым ощущением я думаю о колодце розового веронского мрамора	195
Эль-Нар, гибкая стремительность пустыни	197
Галлюцинация принимает такую осязательность реальности.	203
О печаль, печаль, из какого далека ты снова несешь мне то, что однажды уже так томило меня?	205
О, перестаньте терзать меня	210
Молодой месяц стоит высоко в небе	211
Хотя строгость горизонтального режима ослаблена.	214
Что это за титанические явления на архитектурных фонах высеченных и нагроможденных скал?	216
Никогда не было мне так жаль просыпаться	218
Прошу одного из музыкантов, чтобы он показал мне свою виолончель	219
Я лежу перед окном	228
О, красота ночи, сколько раз я терял тебя!	229
Сегодня страстной четверг	231
Сегодня страстная пятница.	241
Сегодня страстная суббота	241
Сегодня Пасха. Сегодня день Воскресения	248
О освобождение, освобождение взываю к тебе в моих сумерках без Геспера	253
ПРИМЕЧАНИЕ.	253

	Стр.
Кто не боится смерти, не умирает	154
О, мой Маджора, где ты?	156
Еще один заплакал бы и, может быть, еще сильнее других:	
Джованни Федерико, матрос с родины моей матери. . .	156
О, несравненная музыка божественной войны	158
Сколько жизни, сколько красной жизни еще есть во мне! . .	159
Все вновь воспламеняется. У зари не роса, а искры	160
Демон снова разжег в глубине моего глаза все огни	161
Я еду верхом по сгоревшему уже сосновому лесу	162
Множество языков пламени выстроено в ряды	164
Океан снова дышит своими порывами между крепкими	
дюнами	167
О, огонь всесожженья, юная жертва	
в белой высоко опоясанной одежде	170
О, огонь всесожженья,	
у тебя отняли сердце человека	170
Снова ли вихрь зловещий	
вздывает холодный пепел?	171
Слышу пенье Фениксов!	171

ТРЕТЬЕ ПРИНОШЕНИЕ.

Дремота первого апрельского дня	173
Быть италийской прекрасной пинией	
на одном из римских холмов,	
когда восходит полная луна	174
Краткая передышка	175
Не сплю. Не могу заснуть	179
Я заснул только, когда уже совсем рассвело	180
Мне кажется, что у меня нет больше комнаты	181
Я проснулся от толчков взбудораженного сердца	183
Окно открыто.	184
Сколько дней еще до страстного четверга?	185

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- | | |
|-----------------------|---|
| <i>П. Бенуа</i> | — „Атлантида“, роман. |
| | — „Дорога гигантов“, роман. |
| <i>С. Бржозовский</i> | — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев. |
| <i>Г. Верфель</i> | — „Человек из зеркала“, пьеса. |
| <i>К. Гамсун</i> | — „Соки земли“, роман. |
| <i>Г. Гауптман</i> | — „Зимняя баллада“, пьеса. |
| <i>П. Гзель</i> | — „Беседы А. Франса“. |
| <i>О. Генри</i> | — Рассказы. |
| <i>Г. Гольст</i> | — Лирические драмы. |
| <i>П. Лагерлев</i> | — „Гномы и люди“, рассказы. |
| <i>Р. Маран</i> | — „Батуала“, африканский роман. |
| <i>М. Маркс</i> | — „Женщина“, роман. |
| <i>М. Матерлинк</i> | — „Белая невеста“, пьеса. |
| <i>К. Мейринк</i> | — „Голем“, роман. |
| <i>Ж. Ромэн</i> | — „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман. |
| <i>Р. Роллан</i> | — „Кола Бреньон“, роман. |
| „ | — „Пьер и Люс“, роман. |
| „ | — „Клерамбо“, роман. |
| „ | — „Аннет и Сильвия“, роман. |
| <i>Э. Синклер</i> | — „Сто процентов“, роман. |
| <i>Дж. Синг</i> | — „Герой“, пьеса. |
| <i>Франк</i> | — „Человек добр“. |
| <i>А. Франс</i> | — „Жизнь в цвету“, роман. |
| <i>Г. Уэллс</i> | — „Неугасимый огонь“, роман. |
| <i>К. Эдшмид</i> | — „Шесть притоков“, новеллы. |
| „ | — „Тимур“, рассказы. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЮТСЯ:

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

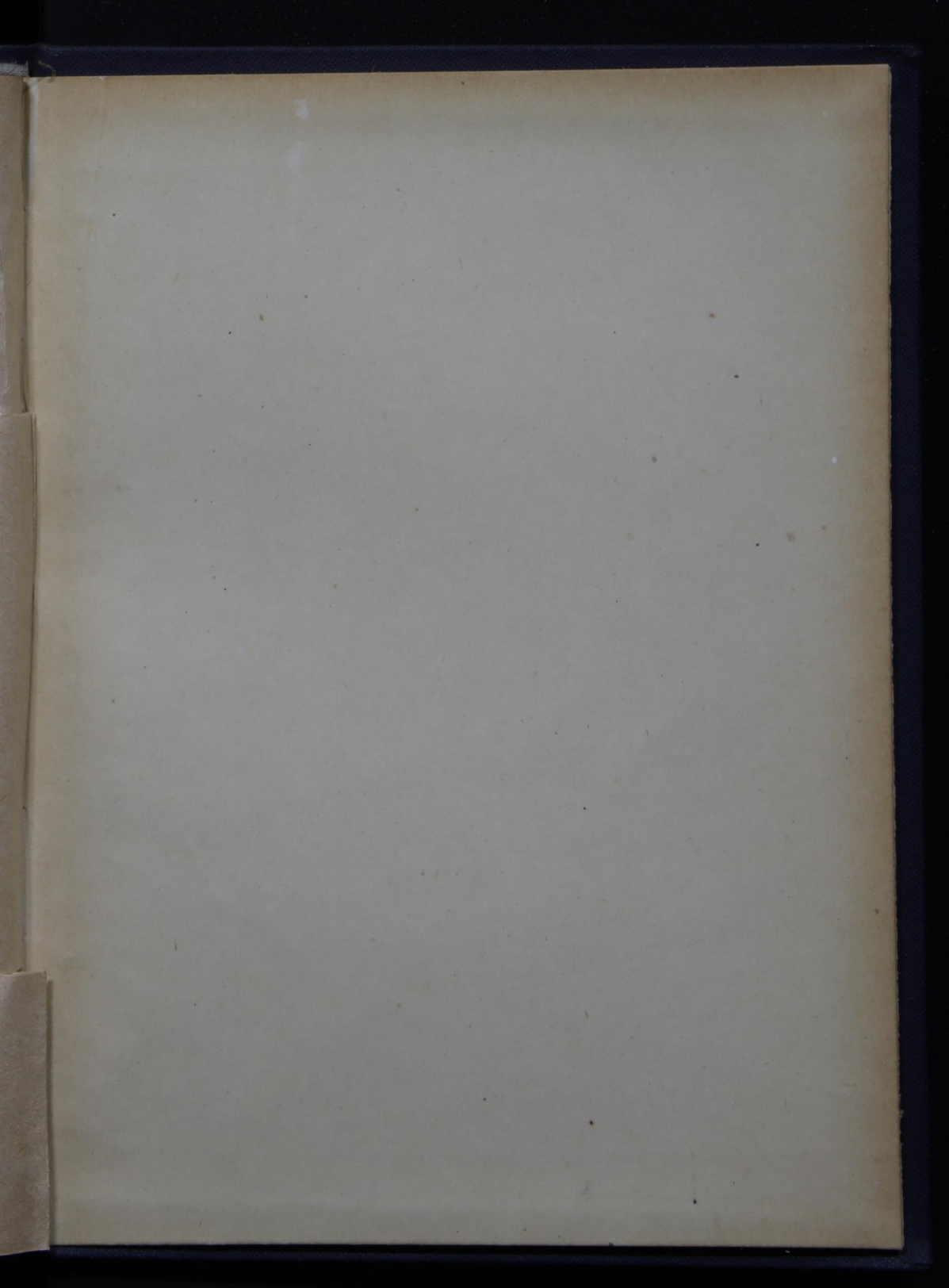
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| <i>Г. Клейст</i> | — Собрание сочинений, т. т. II и III. |
| <i>К. Гоцци</i> | — Сказки для театра, т. т. I и II. |
| <i>Э. Зола</i> | — „Труд“, роман. |
| <i>Сем Бенелли</i> | — Избранные сочинения. |
| <i>Б. Гальдос</i> | — „Очарованный Кавальеро“, роман. |
| <i>О. де Бальзак</i> | — „Шагреновая кожа“, роман. |
| <i>Марат</i> | — Письма. |
| <i>В. Гете</i> | — „Из моей жизни“ |
| <i>Сезан</i> | — „Сергюзешт“. |
| <i>Вольтер</i> | — „Орлеанская дева“, с фототипиями. |

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| <i>О. Генри</i> | — „Короли и капуста“, роман. |
| <i>Экспрессионизм</i> | — „Сборник статей“, с иллюстрац. |
| <i>Ф. Уиру</i> | — „Род“, „Площадь“, пьесы. |
| <i>Ф. Бреммер</i> | — „Туманность Андромеды“. |
| <i>Бергстедт</i> | — „Александрсен“. |

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|-----------------|--|
| <i>Д. Дефо</i> | — „Робинсон Крузе“, с иллюстрац. |
| <i>М. Твэн</i> | — „Приключения Тома“, с иллюстрац. |
| <i>Р. Распе</i> | — „Приключения барона Мюнхгаузена“, с иллюстрациями. |
| <i>В. Гауф</i> | — Сказки, с иллюстрациями. |



„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ В СВЕТ ИЗДАВАЕМЫЕ

„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“

ЖУРНАЛЫ:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

КНИГА 1-Я И 2-Я

под редакцией *Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова*
и *К. И. Чуковского.*

Печатается № 3-й

„ВОСТОК“

КНИГА 1-Я И 2-Я

под редакцией: акад. *С. Ф. Ольденбурга*, акад.
И. Ю. Крачковского, проф. *В. М. Алексеева*, проф.
Б. Я. Влади́мири́цова и *А. Н. Тихонова.*

Печатается № 3-й.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

в торговом секторе государственного издательства:

- 1) Москва, Ильинка, Биржевая пл., уг. Богоявлен. пер., № 4.
- 2) Петербург, Проспект 25 Октября, № 28. Тел. 549—32.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

В магазинах Госиздата и др. книжных магазинах.

